

INSPIRIA



СЕРГЕЙ
САМСОНОВ

ВЫСОКАЯ КРОВЬ

 INSPIRIA

Loft. Современный роман

Сергей Самсонов

Высокая кровь

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Самсонов С. А.

Высокая кровь / С. А. Самсонов — «Эксмо», 2020 — (Loft.
Современный роман)

ISBN 978-5-04-112896-8

Гражданская война. Двадцатый год. Лавины всадников и лошадей в заснеженных донских степях — и юный чекист-одиночка, «романтик революции», который гонится за перекасти-полем человеческих судеб, где невозможно отличить красных от белых, героев от чудовищ, жертв от палачей и даже будто бы живых от мертвых. Новый роман Сергея Самсонова — реанимированный «истерн», написанный на пределе исторической достоверности, масштабный эпос о корнях насилия и зла в русском характере и человеческой природе, о разрушительности власти и спасении в любви, об утопической мечте и крови, которой за нее приходится платить. Сергей Самсонов — лауреат премии «Дебют», «Ясная поляна», финалист премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга»! «Теоретически доказано, что 25-летний человек может написать «Тихий Дон», но когда ты сам встречаешься с подобным феноменом...» — Лев Данилкин.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-112896-8

© Самсонов С. А., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

I	6
II	11
III	19
IV	30
V	40
VI	55
VII	64
VIII	74
IX	78
X	87
XI	98
XII	103
XIII	111
XIV	123
Конец ознакомительного фрагмента.	131

Сергей Самсонов

Высокая кровь

© Самсонов С., текст, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

I

Январь 1920-го, Северо-Кавказская железная дорога, Миллерово – Лихая

Вот они, мертвые, – меж серыми скирдами, на ископыченном снегу, в лужах мерзлой пупырчатой крови. Один ничком, с упрятанным лицом, как будто греб по снегу, отмахивая мощные саженьки, да так и застыл в отчаянном усилии уплыть от смерти, со скрюченными пальцами, вкогтившимися в наст. Второй, наоборот, как спит, умаянный работой, или пьяный, с беспечно раскинутыми ногами в обмотках и чуть не заведенными под голову руками, глядит полубеневшими глазами в железное бессолнечное небо. У третьего, тоже упавшего навзничь, с подогнутыми, завалившимися вбок ногами, багряно стесано лицо и видно лишь оскаленные стиснутые зубы.

Живые стоят над ними не долее, чем травоядные над падалью, и снова трогают запаренных и покрывающихся инеем упряжных лошадей.

Возница, старик в дубленом полушубке и лисьем малахае, с похожим на географическую карту, перепаханным морщинами лицом, глядит на убитых, как дерево сквозь трещины коры.

Второй, пассажир, в инженерской шинели и путевой фуражке, лет тридцати, худой, но сильный, равнодушно-спокоен, и позы в этом совершенно нет или не чувствуется. Изнуренно-худое лицо его красиво красотой породы и будто уже вырождения, а кажущиеся непомерно большими глаза словно углем подведены – не то как у святого на иконе, не то, наоборот, как у богемы, из тех, грассировавших в поэтических кафе, изображая печального Пьеро.

Третий, грузный, дородный, в замечательной черной бекеше и бурках, улыбается дико-счастливой, полоумной улыбкой, не в силах скрыть: «Жив! Уцелел!» – и кровь самоуправно возвращается в его мясистое, одутловатое лицо.

Четвертый, боец, в заржавелой шинели и траченой мерлушковой папахе, непроницаемо-угрюмый, молчаливый, даже будто бы глухонемой, на все глядит с покорностью привычки.

И только пятый, самый молодой из всех и в новеньком кавалерийском обмундировании с тройными «разговорами», не может скрыть жадности. Хорошее, бесхитростно-упрямое лицо, не то гладко выбритое, не то еще не знающее бритвы. Чистый выпуклый лоб, прямой, широко-ноздрый, чуть курносый нос, твердо сомкнутый рот и крутой подбородок с сильно вдавленной ямочкой посередине. Голубые глаза в снежном пухе ресниц измучены ветрами и бессонницей, но светятся неистощимой жаждой жить, месить сырье творения, той жаждой, что свойственна всем пылким мальчикам, до срока свято убежденным, что сколько бы ни обращался мир в своей заоченелой неизменности, лишь им-то и дано пересоздать его по собственным понятиям о справедливости. Лицо его – сама история начавшегося века, прекрасных столетий, отсчитываемых от края тьмы, он – прародитель будущего человечества.

Ему не страшно, он уже довольно видел мертвых. Держал на руках Алешку Котельникова, у которого горлом шла кровь, выплевываясь толчками, словно он давился и отблевывался, а глаза расширялись, как будто вопрошая, что же это и как такое может быть, и вот уж заходили к небу, окостеневая, и Северин не мог понять: «Только что был живой – и уже ничего?»

Когда умирали свои, все казалось ему небывальщиной, именно сном: какое-то спасительное слабоумие, почти уже нечувствие мгновенно находило на него, и он, продолжая все видеть и даже осязать, уже не участвовал в происходящем – сознанием, сердцем.

Случайно попадавшиеся мертвецы внушали ему отвращение, не подавляемое и в отношении своих, красноармейцев, которые как будто делались неизмеримо ближе к мертвым же врагам, чем к нему, их товарищу, пока еще живому. Как были непохожи эти трупы на строгих,

благочинных, воистину покойников его, северинского, детства и мирного времени – обмытых, принаряженных в последнюю дорогу, в обитых бархатом и креповыми лентами гробах, с пустыми лицами, похожими на восковые или гипсовые слепки с них, живых... Но странное дело, и эти, и те внушали ему одинаковое, ничем не заглушаемое любопытство – одно и то же чувство неприступности чужой, непостижимой тайны.

Что самого его хоть нынче тоже могут убить, он и теперь не верил совершенно. То есть понимал, что – могут, что когда-нибудь ему придется прекратить существование, и даже чувствовал физический страх смерти, когда над головой рвалась шрапнель, но между ним и этой истиной всегда была какая-то незыблемая и беспроломная стена, вернее радостное чувство своей сбывающейся жизни.

Сам он не то чтоб никого еще не убил, но огонь по далеким фигуркам – всегда на грани видимого, всегда как будто полустертым в беге, в мельтешении – во-первых, доводил его до верхнего предела сосредоточения на своей винтовке и на цели (совмещение мушки и целика, выставление прицела на рамке, как на шкале аптекарских весов), а во-вторых, рождал в нем то же чувство хищного азарта, что и на самых первых стрельбах по мишеням. Он не видел лица и даже человеческого образа, да и не мог понять, наверное, убил ли или только ранил; когда же весь курсантский взвод садил сколоченными залпами, то и вовсе не мог угадать, он ли это попал или рядом лежащий товарищ.

Войне вообще обескураживающе недоставало красоты. Пойдя добровольцем, Сергей был в Красной армии с начала девятнадцатого года. Охрана железных дорог. Командные курсы. Он ждал оружейных раскатов, кавалерийских шквалов, штыковых атак – сгореть, испепелиться в огненно-кипящем пекле и тотчас возродиться к новой жизни не ведающим боли, усталости и страха. Но оказалось, что до смерти еще надо дошагать. Уныло глюкающая под ногами грязь, пронизывающий ветер, рыхлый снег, караулы, секреты, таскание сена коням, проклятия, стоны и нескончаемая ругань в бога. Неистребимая потребность сна, недоед и тифозные вши.

Он и сейчас испытывал голодное, обиженное разочарование. Всего минут десять назад, слетев с линейки и упав ничком на снег, он со сжимавшимся от возбуждения сердцем стискивал наголодевший револьвер, а от этой околицы, поднимая клубы снежной пыли, уносились линейки и брички, а за ними живым черно-белым бураном накатывались на обоз казаки.

Налетели на дружный винтовочный залп и потоком пошли в разворот, ошетилившиеся бешеным крошевом взрытого снега. Полоска первозданно чистой степи, растущая меж казаками и обозом, осталась будто бы такой же девственной: никакой черной сыпи порезанных пулеметно-ружейным огнем лошадей и людей, ни единого темного пятнышка – как ни вглядывался Северин.

Всего минут десять назад эти пятеро не знали друг друга, разве только возница-старик, Чумаков, служил дородному каптеру, а вернее начснабу знаменитого конного корпуса. «Путеец», Аболин, вскочил к ним в тачанку, единственную, что ушла из хутора от казаков, взрывая снеговую целину, словно осумасшедший плуг, запряженный гнедыми. Возница повалился с козел в снег, начснабор, куль муки, рухнул следом, подвластный лишь земному тяготению, а этот, Аболин, немало удивил Сергея своим нетеряющимся хладнокровием – скакнул с тачанки на обозную подводку и, оттолкнув красноармейца от «максима», вклеился в рукоятки, с оскалом резанул, рассыпая над степью железную дробь, только вот с превышением взял...

– Прицельную камеру видишь, в закон твою мать?! – вскочив, накинулся Сергей, испытывая острую досаду и вместе с тем как будто бы любуясь своей боевой бывалостью.

Но эти изнуренно-жесткие глаза и будто бы усмешка снисхождения заставили его почуять стыд... Ростовский подпольщик, работал на Лихой – «в надежде пустить под откос бронепоезд «Ермак»».

– Мне бы с вами, товарищи, – сказал, попеременно взглядывая на Сергея и начснabor Болдырева. – Имею сведения касательно укрепрайона белых на Персияновских высотах...

Теперь все пятеро держали путь в полештаб Леденева. Северин был назначен к тому корпусным комиссаром – и Болдырев, узнав об этом, посмотрел на нового товарища с каким-то жалостным почтением, неверяще и будто уж совсем обезнадеежно: неужель поматерее никого не нашлось? Где искать (а вернее, где можно настичь) своего командира, он имел только самое приблизительное представление. Собрав по хутору все семь своих подвод и схоронившихся по-за плетнями возчиков, он начал жаловаться, будто и со злобой:

– Сами видите – не угонюсь. По стратегии-то хорошо – что ни день по сто верст отрывать, ну а мне как с обозом? Он ведь, понимаете ли, маневрирует. Опять же, дело ясное, военное искусство, за что в газете Ленин пишет: молодцы, побольше таких Леденевых. Да только мне-то как работу дать, какую с меня революция требует? Железная дорога – дело дохлое: беяки все пути повзрывали и в узел завязали. А на своих колесах разве же подтащишь к сроку все? Вот и мечусь, как заяц на угонках.

– Выходит, что ж, чем лучше он воюет, тем вам хуже? – оборвал Северин его исповедь, с усмешкой взглянув на Аболина, и тот усмехнулся в ответ.

– Такой парадокс моего положения! И ведь сам с меня требует: «где?» Боепитание одно... Табака, мыла, сахара – вынь да положь. И ведь так поглядит, что аж где-то в самой главной кишке холодеет и лучше бы к белым, ей-богу, попасть...

Сергей ощущал в себе упрямую точность трепещущей компасной стрелки – комкор Леденев, имя ветра, был для него магнитным полюсом Земли, все силовые линии вели к прославленному корпусу, и даже обмерзлые колеса подвод, с алмазным скрипом резавшие снег, казались ему эдакими древними меридианными кругами, топорно сработанными астролябиями железного века, и упряжные лошади как будто бы имели нюх собак, идущих по следу хозяина.

Таким же магнитом был Леденев и вот для этого Монахова, молчащего, как с вырезанным языком, и для еще полудесятка прибудившихся к ним безначальных бойцов. К Леденеву бежали из госпиталей, полевых лазаретов, из резервных полков, из пехоты, по пути добывая коней, седла, шашки... Эскадроны, полки, кавбригады подавали прошения в штаб: передайте нас всех Леденеву, с ним быстрее дойдем до соленой воды и победы мировой революции... От белых десятками, сотнями, вздрозь и взводными колоннами перебегали казаки – в трудовую рабоче-крестьянскую веру и именно что к Леденеву.

Фронт еще не улегся, его еще в сущности не было – Леденев в одиночку прорвал оборонительную линию двух белых корпусов и колдовским броском на сорок верст забрал Лихую, о чем телеграфировал в штаб армии с белогвардейского же аппарата. Пехота ползла, отставая едва не на сутки; вокруг, пробиваясь на Дон, шарахались и каруселили сорные, сбродные, недобитые белые части. Сергей со спутниками двигался с унылым обозом стрелковой бригады Фабрициуса. Клубящийся пар от дыхания упряжных лошадей ложился на гривы, на лица, папахи и намерзал, обсахаривал инеем – и люди с серебряными бородами, усами, чубами, ресницами казались глубокими старцами, которым уж и волосок на голове нести тяжело. Ни близость железной дороги, ни россыпь всех попутных хуторов, ни седые распятия телеграфных столбов с обрубленными проводами, вмерзшими в сугробы, ничего не меняли в пустынности, в подавляющем однообразии мертвой заснеженной степи; сжигающий, господствующий белый был будто уж цветом самой пустоты, полярного небытия; в бескрайности этих предвечных просторов неумолимо растворялись и серые хатенки с соломенными крышами, и телеграфные столбы, и сам обоз. И мертвая зыбь пахоты, недвижными волнами уходящей к горизонту, являлась взгляду будто бы закоченевшим древним морем, и цепи старинных курганов тянулись навстречу обозу немymi предвестниками тех незапамятных времен, когда земля еще не знала человека и ничего живого на ней не было.

Сергея занимал нечаянный попутчик Аболин: его холодное, насмешливое самообладание внушало доверие и даже будто бы ту тягу, какую испытывал к старшим, сильнейшим товарищам, но вместе с тем что-то невытравимо чужеродное мерещилось в этом лице.

Один из приставших бойцов, молодой, бахвалился своими подвигами, лихостью.

– Ох, и горазд ты, парень, погляжу, брехать, – пробурчал коренастый старик Чумаков. – Кого крошил-то? Петуха на плахе?

– А вот таких, как ты, бородачей, дурней старых!

– А коли так, вояка, то скажи: чего же ты видел, когда человека рубил?

– А то и видел. Полковничка белого, как зараз тебя. Как шашка от солнца горит, ажник полымем бьет.

– Да нет, брат, – сказал Аболин. – Когда рубишь, ничего уже не видишь, а только две кисточки.

– Какие две кисточки? – не понял Сергей.

– А как из тела шашку-то тянешь, кровь по стокам бежит, – пояснил Чумаков, посмотрев на него разжижёнными временем прозрачно-светлыми глазами, и от этого будто бы детского, безмятежно-невинного взгляда Сергею сделалось не по себе. – Вот это самое две кисточки и есть.

– Вы что ж, военный человек? – спросил Сергей Аболина.

– И да, и нет, – потянулся к нему Аболин самокруткой, прикрывая зажженную спичку отворотом путевой шинели. – В пятнадцатом году пошел добровольцем на фронт. Даже прапорщика выслужил и по ранению Георгиевский крест.

«Начну выпрашивать – поймет, что я его... подозреваю, – замылся Сергей. – А за что? За лицо? За грамотную речь, манеры, выправку? Мало, что ли, у нас офицеров? Вы ведь и сам, товарищ Северин, не пролетарского происхождения. Или после Агорского вам в каждом бывшем офицере будет видаться предатель и шпион?»

– Вы спрашиваете, – разрешил Аболин, словно услышав его мысли. – Война эта давно уже ведется со всеми ухищрениями. Хватает и фальшивых комиссаров, и беременных женщин с подушкой под платьем.

– Спрашиваю, – рассмеялся Сергей облегченно. – С Ледневым, выходит, знакомы?

– Зимой восемнадцатого года познакомились, на Маныче. Я агитировал казачью бедноту, а он строил свой партизанский отряд. Это сильный человек. Есть в нем что-то такое, что заставляет всех вокруг с готовностью и даже с радостью ему повиноваться, – говорил Аболин, глядя своими странными глазами словно сквозь Сергея и улыбаясь так, как улыбаются чему-то незабвенному. – Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и копыта коней его подобны кремню, и колеса его как вихрь.

– Вы, Сергей Серафимович, вон Чумакова поспрашивайте, – втесался Болдырев в их разговор, кивая на обтянутую желтым полушубком спину старика. – Он Романа Семеныча смаличку знает. Тот, было время, у него и вовсе в подчиненных ходил. Слышь, Чумаков? Поведай-ка нам, брат, как ты товарища комкора притеснял при старом режиме.

– Ага, как же – зараз, – сипато отвечал старик, не оборачиваясь. – Ить вон и буран собирается. Где уж тут погугарить – за шапки держись.

А небо уж и вправду трупно потемнело, и горизонт на юго-западе, лишь миг назад четкий, как бритвенное лезвие, подернулся тучами белого кипева, и вот уже все небо слилось со снежным морем в иссиза-белесую непроницаемую муть. Взрывая, сверля бесконечные волны сугробов, громадной гуттаперчевой стеной ударил ветер и забил рот и горло леденистым песком, в самом деле лишая возможности хрипнуть хоть слово, резал бритвой глаза, наждаком шкурил скулы, и пришлось втянуть голову в плечи и упрятать лицо в воротник. Сквозь режущий свист, волчий вой и детскую жалобу выюги хрипато прорывались безобразные ругательства обозников, костеривших своих изнуренных коней и друг друга. Визжали уносные и коренники,

ломались с треском дышла и оглобли. Нет мира, нет земли, нет даже света, отделенного от тьмы, – в пронизанную воем, изначальную, не осиянную творящим духом пустоту оборвался накатанный шлях, а вместе с ним вся красная Россия.

II

Июль 1919-го, Госпитальная клиника Саратовского университета

Из вагона его вынесли на простынях, как гроб на полотенцах. У всех была почти уверенность, что для него это последняя дорога.

Бесстрашный от отчаяния, по-собачьи влюбленный в него ординарец искал его на ископыченном, испятнанном трупами поле, переползал под припекающим к земле пулеметным огнем, саламандрой, змеей извивался между гнедыми валунами конских круп, спин, боков и новопреставленными мертвецами, чьи разрубленные и простроченные пулеметом тела от легкой всюду жаркой пыли перестали кровоточить, елозил в этом черно-буром студне, кусал траву и землю, пропитанную кровью и мочой издыхающих животных, и плакал как ребенок от неспособности признать, что командир его и вправду оказался смертным. Он нашел его в крутобережной теклине, ниспадающей в балку, – на губах пузырилась кровавая пена, а только ворохнул, как изо рта толчками начала выплевываться кровь. Не чуя трясущихся рук, повернул его на бок, нашел ощупкой рану на промокнутой, как от ливня, гимнастерке, порвал исподнюю рубашку на себе, перевязал как мог и поволок. Последней жильной мочью, обваливаясь на спину и ноя сквозь стиснутые зубы от тоски бессилия, тянул его по этой расширявшейся теклине, словно огромного ребенка из утробы самой праматери-войны.

Ординарца звали Мишка Жегаленок – рожак с Гремучего, комкор хуторной, уцелевший из горстки тех первых, что пошли за Романом Семенычем воевать за мужицкую землю и волю.

Тараня тендером разбитые вагоны, зверино-воюющими, гневными гудками загоняя в тупики даже самые срочные грузовые составы и людские теплушечные эшелоны, за полсуток покрыл перегон до Саратова экстренный поезд. Весь путь ординарцы, сменяя затекшие руки, держали раненого на весу, чтобы не вытрясти из тела kloкочущие в нем, как в казане, последние, наружу рвущиеся силы.

Знаменитому Спасокукоцкому и всему персоналу было разъяснено, что это тот самый комкор Леденев – любимый герой и вождь красной конницы, – и надобно вложиться всем своим искусственным дыханием и физиологическим раствором, чтоб сохранить вот эту жизнь для революции.

Профессор, наломавший руку еще на раненых в Германскую, делал все, что умел как никто, – не из страха и благоговения, а из соображений своего ремесла, для которого был предназначен, как легавый кобель для охоты, а его пациент для войны. Он видел под собой не историческую личность, даже не человека, а только поле операции, протертое спиртом, бензином и йодом, – разрезанные кожу, мышцы, фасции, обнаженные желтые ребра с глубокими трещинами и дымчатое легкое с тяжелым сгустком крови в плевре, уродливо запавшее, придавленное легкое здорового и сильного тридцатилетнего мужчины, которому еще бы четверть века ничто не угрожало из «естественных причин», и велика была возможность умереть глубоким стариком, когда б не свинцовая пуля, вошедшая под правую лопатку.

Да и сам для себя этот вот человек был никаким не Ледневым, командующим 1-м Железным конным корпусом, обороняющим от Врангеля Царицын, а сплошным чувством боли и глухонемого удушья. Он еще чувствовал и даже будто слышал происходящее вокруг, но был на той последней грани, когда уже не помнишь своего предназначения и даже имени, когда человек опускается почти до самоощущения животного, которое не хочет умирать.

Оперировали его многожды. Удалили свинцовый комочек, засевший под правым соском. Блестящими спицами, напоминавшими вязальные, выкачивали из груди дурную, стустелую черную кровь. Он приходил в себя и снова слышал вяжущий противно-сладкий запах хлороформа, под действием которого безобразно ругался, звал то Дарью, то Асю и пел: «Мы по горочкам летали наподобье саранчи. Из берданочек стреляли все донские казаки...», а может быть, это звучало лишь в его голове, в то время как не мог произнести ни слова, и врачи, что склонились над ним, различали лишь клекот нагорной воды, полный силы и лишенный значения.

То он видел сморчковую песью мордочку нетопыря, его ошеренные реденькие зубы и коричневые пузыри его зенок, ощущал на себе его мелкие когти и раскрытые веером кожистые глянцевиные крылья и чувствовал, как тот присасывается к дыркам у него в груди. То он видел стеклянно-рубиновых шестилапых рогатых чудовищ, совершенно прозрачных и наполненных кровью, которую пьют. То казалось, что полчища вшей возит он в переметных сумках, кормит ими коня, поедает их сам, сеет их по родимой степи. Всюду, где проезжает, буревыми валами проходит за ним всесжигающий пал, пожирает ковыль и заливы некошенных спелых хлебов, и под хлопьями сизой золы, запорхавшими по небу, в пыльной мгле суховея чернеет обугленная, трещиноватая, как плаха, горькая земля.

Когда он наконец возвратился из странствий по фантастическому миру, увидел над собой лобастое тяжелое лицо с безулыбчиво сомкнутым ртом, широконоздрым крупным носом и глазами, глядящими куда-то в самую твою серединку, но не в душу, а в животное нутро – безжалостно, но признавая твое право на боль и зная о своей над нею, болью, власти, но зная и предел, где эта власть кончается.

– Вы слышите меня, Леденев?.. Вы ведь Леденев? – спросил врач уже подозрительно, поскольку лицо пациента, вернее глаза его выразили одно только недоумение и даже будто бы непризнание себя Ледневым.

– Прикажете – так буду Леденев, – улыбнулся пациент смиренно и в то же время будто жалобно-просительно: а нет ли для него другого имени, другого дела, славы, участия – как будто собственные неотрывные представились ему не то давяще-непосильными, не то совершенно ничемными в сравнении с тем, что открылось ему там, где он побывал.

«Быть может, это-то Толстой и называл пробуждением от жизни? – подумал профессор. – Но ведь он будет жить. Теперь уж и не хочешь, а придется... Так что ж это – Аустерлиц, все пустое, обман? Такое, вероятно, и барин, и мужик понимают уже одинаково... А впрочем, плевать, чего там над ним распахнулось. Гной, гной в плевральной полости – пожалуйста пунктировать, а с ретроградной амнезией не ко мне... Какой, однако, экземпляр. – Он, как хорошего коня или собаку, жалеюще окинул это тело, имевшее цвет томленного дуба, подчеркнутый свежей белизной бинтов, с глубокой грудной клеткой и волосатыми ногами, сильными, как кузнечные клещи. – А может быть, он просто чувствует, что ему больше не воевать? И легкое спалось, и правая рука, скорей всего, сухая будет. Какой, в самом деле, теперь из него теперь Леденев? Жить есть чем, но как... Они же ведь хотят пылать, сгореть и осветить полмира, как этот у Горького, вырвавший сердце. Сметем до основания – на меньшее, чем быть самой природой, не согласны. Ну сокрушите, ну сметете, а жить из чего, господа? На то, чтобы строить, силенки останутся? А то ведь вон, легкое выблевано, хребет переломан, мошонка оторвана. Творца подправляли – себя искалечили. Наш брат-то, ученый, сперва лягушечек кромсает, а эти сразу на себе жестокие опыты ставят да на великом миллионе человек, которых не спрашивали. Быть может, хоть этот наконец что-то понял? А был-то страшный, говорят. Ух и крошил же, верно, русских мужичков. Вон теперь какой смирный – что живой схимонах во гробу. Да верно, тоже до поры, а то не видели таких – в чем только дух, а всё изнеможе бежай от течения своего, аки конь, стремящийся на брань. Подыдем на ноги – тогда уж берегись. Как скажешь такому: вам нечем дышать?»

Он перевидел тысячи больных и раненых: интеллигентов, мужиков, полковников Генштаба, комиссаров, людей неукротимой воли и стоического мужества, покорного согласия с судьбой и христианского долготерпения. Он видел чудеса восстания из мертвых и смерти от одной тоски, когда человек по ранению или болезни уже не может жить как прежде и не хочет – никак.

Он знал диковинную стойкость, порой необъяснимую живучесть человеческого существа, его способность к возрождению и вместе с тем его ломкость: обрушится дом, полсотни осколков вопьются во внутренности – и все нипочем, а умирает, переев соленых огурцов, от стакана холодной воды, застудившись в ночевке.

Он редко удивлялся происходящему с больными, да и некогда было дивиться. Уж слишком он был занят легкими прославленного пациента, чтоб придавать значение некоторым странностям в его поведении. Тот никого к себе не звал и ни о ком не спрашивал. К больному порывались его преторианцы и высокие чины из красного командования, и спустя две недели профессор разрешил посещения.

Первым влез ординарец, тот самый, спаситель, Жегаленок, земляк. Его хозяин, божество, оплывший липким потом и грязно-восковой, как мятая в руках свеча, смотрел все теми же неузнающими глазами, страдальчески-злобно и будто бы подстерегающе.

– Роман Семеныч! Любушка! Живой! А мы уж думали – беда, отходил по земле. Как же мы без тебя, кто нас в трату не даст?.. Не-э-эт! Не возьмешь Леденева!.. Вот гляди – допустили к тебе докторá. Стал быть, все, и отставить!.. Ну как ты?

– А будто землей меня казаки наделили по самые вязы – ни ворохнуться, ни дыхнуть. – Леденев дышал с присвистом, мучительно затягивая сквозь оскаленные зубы струю густого камфарного воздуха.

– Царицын оставили, знаешь? Как поранило тебя, так и рухнул фронт, колесом покатишься с горы... Вдарил вот! Мовет быть, и не надо было говорить – для пользы твоего здоровья. Да только все равно ить довели бы до тебя.

– Корпус где?

– Кубыть, на Медведице зараз. Буденный повел. Отходить на Камышин получили приказ.

– Из наших тут кто?

– Да я вот, Степка Постышев да Фрол Разуваев. Всю дорогу тебя на руках как дитяню держали... А она не поехала. Да ты не сомневайся – как увидала, мы тебя несем, так ажник вся и напружинилась, как, скажи, собака на цепи. И поехала бы, дорвалась, да по должности ей не положено, такой на ней то есть комиссарский долг, что ежели революция прикажет, надо делать. Тут она уж не женщина, а самый, значит, что ни на есть сознательный боец... Да я чего – молчок, – испугался Жегаленок леденевского взгляда, не то чтоб угрожающего, а как бы отстраняющего от себя рассказ о женщине. – Коли брехнев наслушался, так извиняйте. Да только у меня у самого кубыть глаза есть, – блудливо прижмурился, не удержавшись. – Это дело такое, что всякая тварь на земле хучь ты как ее перетряхни, а паруется. Сколько нам еще жить припадет по военному счастью, ить не знает никто. Любить-то когда? Мы долг свой блюдем, сами знаете, да только я вам так скажу: ежели мне прикажут вовсе никогда до баб не докаться и жить для революции, навроне как чернец для Бога, так я на том из Красной армии и выйду, ей-бо не брешу.

– К белым, что ли, пристанешь?

– Ну, к белым не к белым, а все ж непонятно: правов-то нам вон сколько разных дает революция, а энто, чего ж, отымают – баб и девок любить? Ажник прямо смешно.

– Со мною был у балки, как поранило?

– Так ты ж меня к Дундичу, к Дундичу... А как правым плечом завернули на них, тут Архипка мне встречь – с седла тебя сняли, кричит. Своими глазами видал!

– А кто снял, не видел Архипка?

– Да как кто?! – И радостно, и жутко стало Мишке, когда из синюшных провалов орбит взглянул на него настоящий, живой Леденев и в то же время будто бы гонимый и подраненный зверь. – Из пулеметов встречь полосканули гады.

– А дырку во мне сзади – это как?

– И думать не моги, Роман Семеныч! – расширились глаза у Мишки в каком-то суеверном отвращении. – Кто ж это такое?.. Да мы за тобой до могилы! Да там и воперек фланкирующим шпарили – мудрено было спину подставить?.. Али сам чего видел? Так ты скажи – мы эту... где хочешь сыщем!

– Да что теперь об том гутарить...

– Так встанешь ить, Роман Семеныч, возвернешься! И Аномалию твою словили мы! Сама до нас из балки дорвалась, целехонькая! Глядим, из ноздрей ажник полымем бьет – тебя поте-ряла. И раньше-то к себе не подпускала никого, а теперь и подавно. Твоя была – твоей и будет! И корпус – то же самое, уж ты не сомневайся!

– А про Халзанова чего слыхать, Мирона? – как будто отдирая заочеченный бинт от раны, ощерился больной и зашелся в хрипато, выворачивающем кашле, не в силах продох-нуть, освободиться, пока не выхаркал на подбородок сгусток крови.

– Да как с корпуса сняли, так ничего об нем и не слыхали. Чего там с ним в тылу – откуда же нам знать. Я думал, вам известно...

Жегаленка прогнала хожалка. Наутро явился другой посетитель – и Леденев опять недо-уменно, недоверчиво-строго оглядывал немолодого человека, по виду кадрового офицера, с английскими усами и твердо загнутыми челюстями, с зачесанными надо лбом полуседыми волосами и умными собачьими глазами в золоченом пенсне. И так же недоверчиво и горестно, словно отыскивал на пепелище что-то дорогое, смотрел на него и вошедший, подсевший к койке человек.

– Ну здравствуй, Роман Семеныч. Веришь – не узнаю. Смотрю – вроде ты, а будто и не ты.

– Краше в гроб кладут? – виновато улыбнулся Леденев, и страшной показалась Клюеву вот эта жалко-виноватая, просительная в безнадежности улыбка – так она не пристала тому Леденеву, которого он знал.

– Э, нет, брат, погоди, – заспешил он. – Это белые тебя похоронили. То-то будет им радости, как восстанешь из пепла.

– А может, все, отвоевался? Отпустите меня? – не то поиздевался над собой, не то всерьез взмолился Леденев.

– А сам-то ты себя отпустишь?

– И корпус вернете?

– Ты, брат, поправляйся пока. А голове твоей мы применение найдем. Дела у нас нынче, как сам понимаешь, худые. Развернулся Деникин – прямой ему путь на Москву. И Врангель жмет на нас. Одной только конницы... да танки английские с аэропланами. И у Сидорина монгольская орда – от Хопра напирает. А корпус Буденного... твой, – поправился Клюев, – прорывы затыкает. Сознаться тебе: возможно и такое, что заберут его у нас. Зарубин отозван в Москву. Ну что ж, если так, то будем скрести по стрелковым дивизиям и войсковую конницу сводить. Так что нужен ты нам, пока жив, так-то, брат...

И это-то «нужен», произнесенное над человеком, который не мог затянуть в свои легкие достаточно воздуха и был бессилен, как спеленатый младенец, подействовало, ровно Иисусово «Встань и иди» на расслабленного, вернее как заклятие новейшего шамана, у которого вместо лосиных рогов, колотушки и бубна – полковая труба и кровавое знамя... По крайней мере, только этим мог объяснить себе Спасокукоцкий то, что видел, да и то лишь отчасти.

Разрезывая на груди пациента бинты, которыми тот был обкручен, как египетская мумия, прислушиваясь к хрипам за выпуклым заслоном мускулов и ребер, он обнаруживал, что легкое расправилось уже наполовину и запавшая правая часть грудной клетки начала раздаваться. То

был естественный процесс, не раз им наблюдавшийся, но скорость его опрокидывала профессорское заключение: «Для расправления легкого потребуется полгода. Для полной трудоспособности – не менее двух лет».

«Что ж, может, в самом деле новый человек, – посмеивался внутренне профессор. – Сам себя воспитавший, словно йог на гвоздях, да так, что и все внутренние органы переродились. Питекантропы, неандертальцы, человеки разумные, а теперь вот, пожалуйста, сотворенная большевиками порода – железный Адам. Такой страстью к действию они одержимы, что кажется, и впрямь преследуют своим движением и смертью какую-то нечеловеческую цель. Будто Господь не испросил у них совета при создании мира, и надобно переменить строение вселенной, которое их не устраивает... А может, все же единичный случай? Природа создала такого для неведомого нам предназначения, а может, и вовсе без цели, одарив произвольно, случайно, как есть дар живучести у железного дерева или чертополоха. Какая-то, право, уродливая, едва ли не рептильная регенерация...»

– Вы до этого ранены были?

– Бывал, до трех раз.

– А контужены сколько раз были?

– А это что такое? – улыбнулся Леденев.

– С лошади сколько раз падали? – раздражился профессор. – Ну, так, чтоб свет в глазах померк и в голове потом с неделю бы мутилось?

– Ну тоже, кубыть, до трех раз. Вы, доктор, мне прямо скажите: гожусь я такой для ратного дела?

– Такой, как сейчас, вы годитесь только для полного покоя. Хотите прямо – вот вам, получайте: в ближайшие полгода придется думать, чем дышать. Сосновый бор и чистый воздух. В противном случае повалитесь с коня. Кашель повалит.

– Полгода, доктор, мне нельзя. На Дон, домой мне надо.

– Что значит «домой»? Очистить Дон от белых банд? Или, может, семья у вас там? Семья у вас есть? Дети, может?

– Отец, брат, сестра, – как будто и впрямь вспоминал Леденев. – Отстали они от меня, потерялись.

– А женщина ваша? Должна же быть у вас какая-то женщина.

– Какая-то должна.

«Нет, все-таки страшный, – подумал профессор. – “Отец, брат, сестра” – ни эмоции, ни полутона. Как будто и нет никого. Жена – война, мать – революция, а отец – верно, Ленин».

Спустя еще неделю Леденев был выписан из госпиталя. Голова его, бритая до синевы, с остро обтянутыми кожей скулами и челюстями, казалась голым, выбеленным черепом, в орбитах жили выпуклые, преувеличенные худобой глаза, и оттого было еще страшнее.

Ему отвели богатую дачу на Волге – господский деревянный дом со всеми службами и мрачно-величавой аллеей древних елей, с качелями и каруселью на лужайке. Живой, кровно-трепетной музыкой, под которую рос наравне с материнскими песнями, взвилось над усадьбой тревожное, гневное ржание, и перед ним, высокими ногами врывшись в землю, на двух натянутых струной волосяных чембурах застыла огненная кобылица, а вернее, прекрасный и чудовищный зверь с сухой, точеной головой, как будто освежеванной до кости, живой и мертвой в одно время. Такая у нее была, посмертной маской во всю морду, кипенная лысина при рыжей, почти красной масти. Дрожал просвечивающий храп, и уши ее были заломлены назад, прижатые так плотно, что, кажется, рукой не оторвать, глаз цвета черной крови, выворачиваясь, косил на Леденева презрительно и зло, будто уже не признавая в нем хозяина. Да, Аномалия. «Твоя была – твоей и будет», – вспомнил он и, как будто чего-то стыдясь, воровато, но уже наливаясь владетельной силой, протянул к ней здоровую левую руку.

Она не ударила и не отпрянула, и мелкие уши ее поднялись и вместе со всей головой потянулись навстречу, глаза стали девичьими, и вся она, уже приятно возбужденная, приобрела вот именно что женственное, нежное, влюбляющееся-отдатливое выражение.

В просторной гостиной с натертыми мастикой паркетными полами разглядывал повешенный на спинку черный френч, привинченный к карману круглый орден – под красным знаменем и перевернутой звездой скрестились молот, плуг и штык. Обтерханный буржуйский кофрфор коричневой кожи. Исподнее, ремни, расстегнутая кобура, разобранный и вычищенный Мишкой вороненый кольт с коробчатым затвором-кожухом. Гроздь жилетных часов. Потянул золотые, открыл – фирмы Мозера, на крышке гравировка: «Герою революции тов. Леденеву в память славных побед...» А эти – призовые, еще царские, за скачки на смотру. Распухшая от записей тетрадь, промасленные, рыжие от старости брошюры графа Келлера – его, Леденева, евангелие, «Кавалерийские вопросы» вместо заповедей. И схемы, схемы, схемы в замусленных тетрадах: уступы, эшелоны, ударные группы, упрятанные маяки, маневры прорыва, охвата, клещей, завлечений, отточенные стрелы, пущенные в цель по беззаконным, непредсказуемым кривым, – вся сочиненная им музыка, всегда рожающая где-то в самой сердцевине существа собачье содрогание от заячьего следа, чистейшую детскую радость от овладения единственной на свете новой вещью.

Перебрал взглядом шашки, расставленные Мишкой вдоль стены: кавказские, драгунские, казачьи, с простыми медными головками, в черненном серебре, с убитых офицеров, с пленных генералов. Потянулся отсушенной правой рукой, не в силах совладать с ребяческим влечением, которое открылось в нем едва ли не в ту пору, когда научился ходить. По-детски неуклюже взял одну, неподъемно тяжелую, мертвую, и не то ее ножны потекли сквозь сведенные пальцы, не то пальцы – сквозь ножны. Едва не уронив, перехватил здоровой левой. Выпячивая губы, потянул клинок из ножен, погляделся, как в зеркало, в смутную, равнодушно-холодную гладь, рассеченную стоком, и взвешивающе качнул, как будто размышляя в раздвоении: оживить или злобно швырнуть ее в угол.

Так началось его «курортное» житье. Жили с ним Жегаленок, двое старых его вестовых, Разуваев и Постышев, и диковинно нежная, верно из гимназисток, молоденькая госпитальная хожалка Зоя, дававшая профессорские порошки и все безнадежней ругавшая его за курение. Вставал он до света, сосредоточенно, неспешно правил бритву на ремне, скоблил до кости похудевшее, золисто-серое лицо, спускался с крыльца, прохаживался по двору, ворочая в плечах руками, давая работу всем мышцам, костям, а главное, легким, вбирал живительный, настоящий на хвое воздух, дышал речной прохладой, бражным запахом легкой повсюду росы.

Шел к лесу, Жегаленок – следом, неся клубок ремней с наганами и шашкой. Вставал перед натыканными в землю хворостинами. Тянул клинок левой здоровой рукой и делал первое, неуловимое, начавшееся будто бы не здесь и не сейчас круговое движение кистью. Клинок запевал, рыскал ласточкой в воздухе, опрозрачивал в нем на секущем лету – косо срезанная хворостина вертикально втыкалась в песок заостренным концом. А вот с правой беда – и глуха, и слаба, как у малого. Не сбивал, а мочалил лозу – заваливаясь набок, повисала на лоскутьях... Ощериваясь, омываясь потом, кидал косые взмахи, все глубже прорубаясь в лес – до выворачивающего кашля, до кровавой пены на губах.

Дрожливо-непослушной правой подымал револьвер – кидая отдачей, лушило в плече, надолго отнимало руку и сбивало дыхание. Пули сеялись вроссыпь, в пустоту меж ветвями. Но вот уже пошли кучнее, и вот уже Мишка ножом выковыривал из тоненькой березки сплюснутый свинцовый слиток посаженных одна в другую пуль.

Так продолжалось до обеда. Потом либо из города на дачу приезжали гости, либо сам он садился в тачанку и ехал в штаб армии. Наступление Шорина на Царицын захлебнулось. А десятого августа вновь сформированный корпус Мамантова прорвался у Новохоперска на стыке 8-й и 9-й и устремился на Тамбов. Все ждали и уже не ждали Леденева – смотрели на

него с сомнением, даже будто бы с плохо скрываемой жалостью, с какою смотрят на больного, подозревая и боясь, что тот уже не станет прежним: жить будет, а действовать – нет.

Всех в штабе удивляла его необъяснимая покладистость: почему он не требует прежний свой корпус – шесть тысяч обожающих его бойцов? И не только не требует, но и вперед глядит с усталой болью старика, несчастного тем, что зажил на свете...

В один из дней, еще не доезжая до пышного особняка, увидел бешеную сутолочу: наводнением, взрывами распахивались двери, изрыгая на улицу заполошных штабных; писаря, вестовые, бойцы комендантской охраны волочили какие-то ящики, выносили знамена в чехлах.

– Троцкий, Троцкий приехал!.. – прокричал вестовой с граммофонным раструбом.

Леденев протолкался сквозь давку в кабинет командарма. Член Реввоенсовета Знаменский вручил отпечатанный на «ремингтоне» приказ:

«... Поэтому для дальнейшего наступления и разгрома противника приказываю, временно сведя для этого кавбригаду Гамзы (2 полка) и кавбригады 37-й и 38-й дивизий (по 2 полка в каждой), спешно сформировать конный корпус. Командующим корпусом назначаю т. Леденева, лихого бойца и любимого вождя Красной Армии...»

Грохнула дверь, и прямо к обернувшемуся Леденеву стремительно пошел знакомый человек, и схожий, и несхожий с сотнями своих фотографических изображений. Темный нимб шевелюры, ледышки пенсне, клювастый нос, остроконечная борода и женски чувственные губы.

– Ну здравствуй, Леденев, – взгляд выпуклых глаз уперся в него, с такой вершины власти, что ничего уж человеческого выразить не мог, но вдруг глаза эти сощурились, как будто все-таки храня живое к Леденеву отношение – недобрую усмешку и даже застарелую обиду, смешную ему самому, но все равно незабываемую, потому что ничто так не может обидеть человека всевластного, как чье-то упорное непризнание его над собой. – Покаюсь, вычеркнул тебя из списка живых. Заставили поверить, что не встанешь. – Заложив руки за спину, заходил взад-вперед, как будто разгоняя приводом невидимое колесо, нагнетая давление в паровозном котле. – Нет Бога милосердного, но тут История сама, ее беспощадная логика сохранили тебя, Леденев. Война есть божество, и война тебя любит. В игре, где на кону уничтожение проигравшего, само твое существование уже есть оправдание. Жив – значит, нужен революции. Для республики пробил решающий час. Ты и Буденный были правы. Нужны не просто кавдивизии, а массы, сравнимые по численности с полчищами гуннов. Я бросил лозунг: «Пролетарий, на коня!» К зиме сто тысяч человек подымутся в седло. Веди их, Леденев. Я дам тебе их. Немедля десять тысяч латышей.

– От свиньи не родятся орленки, а все поросята, – ответил Леденев. – Казаки мне нужны. На коне родиться надо, а на сознательность ему накласть из-под хвоста.

– Та-ак... Продолжаем старый спор? Что, своего Халзанова не можешь нам простить? Но тебе ведь известно: помилован он. Да, отлучили от армии, загнали твоего Халзанова в Донисполком – заведовать противочумным кабинетом. А могли уничтожить, и тогда б ты не так обижался сейчас. И давай-ка откажемся от дальнейшего спора на этот предмет. Что такое один человек для революции? И что такое в свете исторического абсолюта целый сорт людей – любезных тебе донских казаков? У каждого, Леденев, своя воля, у каждого класса свои представления о том, что ему хорошо, и через них он либо забирает власть, либо, напротив, перестает существовать. Война устанавливает справедливость. Тебе ли не знать? Когда речь идет о жизни и смерти трудящихся классов, уже не до морали и привязанностей. Не до голоса крови. Казак, идущий с нами, перестает быть казаком, а всякий, кто держится за собственный кусок земли и древнюю икону, сочающуюся страхом, исчезнет с земли, как трава. Его сметет ветер Истории и прах его развеет. Не ты ли расстрелял двадцатерых своих красноармейцев, когда твоя бригада показала спины? И ты взял эту Гнилоаксайскую, взял. Ты знал, что если

не убьешь, то рухнет фронт. Вот и мы, Леденев, так же знаем, что если не убить враждебную нам общность, то рухнет вся Советская Россия. Ну и при чем тут милость к павшим? Может, дело тут вовсе не в милости, а в том, что караешь и милуешь – ты? Свою власть любишь, а мою не признаешь? Ты, может, и меня хотел бы казнить или помиловать? А это болезнь, Леденев, опасная болезнь. И закончим на этом. Скажи мне прямо: ты со мной? Ты мой человек? И если да, получишь все. Я дам тебе конную армию, способную покрыть просторы, сравнимые с великой Чингисханией, я сделаю тебя вершителем Истории. Твори ее вместе со мной. Ты даровитый человек. Но политик из тебя равен нулю, да ты и сам, я полагаю, это понимаешь.

– Уж чего-чего, а это понимаю.

– Ну вот видишь. Ты меч. А я рука, которая заносит этот меч.

– Хозяин, стал быть, а я пес?

– Солдат, Леденев, слуга революции. Солдаты тоже служат, и ничего в том унижительного нет. У тебя, Леденев, сильная воля, но эта твоя воля может быть только в рамках иной, всеобъемлющей воли – тогда ты оставишь свой след на земле. Чего ты хочешь, объясни. Что, быть ничьим? Гулять, как Стенька? Закончить, как фигляр Григорьев? Как изменник Сорокин?

– А нельзя и меня, – спросил Леденев с не то издевательской, не то и впрямь просительной улыбкой, – в противочумный кабинет?

– Ну, значит, не со мной, – остановился Троцкий, глазами говоря, что может убрать его из революции хоть нынче же, проехать колесом и кости сломать, но в то же время злясь – не понимая этой непреклонной, самоубийственно упершейся породы, преследующей свою цель, как тот чертополох под колесом, как дерево, растущее в безвыборном давлении на чугунные копыя решетки, все глубже впуская их жала в себя, но и способное согнуть их и раздвинуть, если его до срока не спилить.

III

Январь 1920-го, Северо-Кавказская железная дорога, хутор Привольный

Никуда не девалась пронизанная похоронным воем выюги всемировая пустота и тьма, по которой неслись мириады секущих крупниц. Но вот из этой черной пустоты, как будто соткавшись из вихрей, косматые, белые хлынули всадники – живой, беспощадный буран. И свет отделился от тьмы. Ледяной чистый ветер засвистал в тонких ребрах: так вот какая это сила – революция! Все стало алым, заревым от одного лишь бурового лёта этих всадников, как будто вызволенных кем-то из вселенской тверди и раскаляющихся вместе со своими лошадьми на лету, ибо небесные тела по преимуществу состоят из железа, – развеялся, исчез кипящий снежный прах, и места не осталось черноте на небосводе, засеянном сияющими Марсовыми звездами. Они уж не вихрились – размеренно текли перед глазами, эти всадники, и вот из их слитного алого тока неведомый выплыл один, приблизился к Сергею, склонился с седла и протянул ему товарищески руку.

Но вот перед глазами его встало сухое, желтоватое лицо товарища Студзинского, освещенное светом негаснущей лампы в ночи. Глаза сквозь пенсне смотрели печально и одновременно безжалостно.

– Я не хочу работать словом, когда можно агитировать руками, – упрямо повторил Сергей.

– А участие головою вы не предусматриваете? – усмехнулся Студзинский, и глаза его не засмеялись, глядя на Сергея, как на бесхвостого щенка: если выплывет, будет собакой.

– Я закончил командные курсы и дрался с Петлюрой... – ответил Северин, злясь от того, что голос без предупреждения срывается на мальчишеский писк.

– Да-да, триста верст прошли. А еще были секретарем курсантской комячейки в эскадроне, и это не мешало вам идти с товарищами в бой. Так почему же вы считаете, что должность комиссара – это мертвая работа? Если мы вас отправим на фронт. И не куда-нибудь, а к Леденеву.

Сергей онемел. Тот самый. Единственный, первый.

– Ну вот и хорошо. А теперь послушайте меня и не перебивайте. Я не имею непосредственного отношения к политуправлению армии. Я сотрудник ВЧК. Теперь нам понадобился такой человек – молодой, никому не известный, зато с задатками и некоторым опытом... ну, скажем так, разведчика. Не зная и азов, благодаря природной наблюдательности и именно что голове вы помогли нам выявить предателя Агорского. С двумя товарищами и одной девчонкой проделали работу всей Укрчека.

– Какую там работу? Совпадение, случай.

– Я просил вас не перебивать. А впрочем, да, отчасти повезло. А почему? Вы Агорского подозревали, а он вас – нет, не видел в вас противника. Вы были для него еще одним курсантиком, восторженным мальчишкой, и это дало вам преимущество – ну что-то вроде шапки-невидимки. Получилось, уж простите, как с ребенком, при котором обсуждают взрослые дела, полагая, что тот ничего не поймет. Но вы не мальчик, воевали. И должны понимать: если вызвали вас, значит, дело серьезное. Ответьте на такой вопрос: если б вам в первый день сказали, что Агорский враг, поверили бы вы? Начальник курсов, ваш наставник?

– А я не понимаю, что такое верить. Глазам своим верю, ушам. Касаемо Агорского – не верил, пока не убедился.

– А если я сейчас скажу, что комкор Леденев – скрытый враг?

Сергей не отвечал – весь воздух, сколько было в легких, скипелся и оледенел в его груди.

– Молчите – хорошо. Я не говорю, что он без сомнения враг. Глазам своим верю, делам, как и вы. Дела Леденева за него говорят. Но наша работа, товарищ Северин, – не только выявлять врагов в своих рядах, но и беречь для революции всех честных ее тружеников, отстаивать их ото всех несправедливых обвинений, которые, быть может, враги и выдвигают. Так вот, о Леденеве мы имеем множество самых разных суждений. Одни им восхищаются, другие обвиняют... в диктаторских замашках. Есть мнения таких наших товарищей, к которым мы не можем не прислушаться. И вот что вижу лично я: присматриваясь к Леденеву, и в самом деле начинаешь сомневаться. В нем будто бы два человека. Есть один Леденев – тот самый, всем известный, и военных заслуг его перед республикой никто не отрицает. Но есть и другой Леденев, как *persona individuala*, болезненно, до крайности себялюбивый. Донской иногородний, воспитанный в среде служилых казаков – особого сословия, военщины. Солдат, который с бешеным упорством пробивался в офицеры, любя чины, награды, власть. И он получил эту власть. Огромную славу, огромное влияние на массы. И вот уже не видит себе равных. Не признает партийного начала над собой. Никого из истории вам эта личность не напоминает? Да, да, Бонапарта. У нас ведь их хватает – смешных, карикатурных, но и вреда от каждого такого... Страшный сон для чекиста. Вы знаете, к примеру, под каким он знаменем воюет? Под красным, под красным, но тоже будто под своим. Буддийский бог войны на нем изображен. У калмыков забрал и сделал своим личным бунчуком. Не революцию несет – себя. Себя как революцию. По крайней мере, любит производимый им эффект.

– Ну и что из того? Я вот видел у наших медведя. Символизирует освобожденный пролетариат – будто Троцкий придумал. Если белые, бога того или зверя завидев, напускают в штаны, так и польза.

– Двоится Леденев, – повторил Студзинский непреклонно. – С умом-то его все понятно, но это ум военный – хирургический скальпель, а в каких он руках, что за умысел: исцелить революцию или зарезать? Ведь он, повторюсь, из крестьян. Быть может, ни одной хорошей книжки за всю жизнь не прочел – когда ему было читать? Шесть лет на войне, а до этого в лямке да в поле. Ну вот и понял революцию как дикую, ничем не ограниченную волю: «я силен, а значит, мне все можно». Несет бакунинскую ересь: раздайте, мол, крестьянам землю, и они на ней сами как-нибудь все устроят, без большевистской диктатуры, без ревкомов. С одной стороны, у него железный диктат, жестокость ко всем непослушным, то есть непокорным ему лично, а с другой стороны – христианская, а вернее, поповская благостность, которой его напичкали в детстве. Ну жалко ему донских кулаков – у них ведь тоже жены, тоже детки. Слунтяйство, выдаваемое перед самим собой за милосердие. И это в лучшем случае. А в худшем – нелюбовь к Советской власти, которая в его глазах всем крестьянам чужая... – Студзинский закашлялся и замолчал, вставляя в черепаховый мундштук очередную папиросу.

– А Ленин говорит на этот счет, – сказал Сергей, – «думай как хочешь и о чем хочешь, и только если выступишь с оружием, тогда тебе не поздоровится».

– Так вы нам, выходит, подождать предлагаете, пока он проявит себя? Спасибо, годили уже. С Сорокиным, с Григорьевым. Нам нужно понять его – кто он. Наш верный боец или военный честолюбец, а может, анархист махновского толка. Нам надо его не разоблачить – возможно, и разоблачать-то нечего, – а именно понять. Возможно, он и сам себя пока не понимает. Вот и надо залезть к нему в душу.

– И что же я могу? – не вытерпел Сергей.

– То же самое, что и с Агорским. Не вызывая подозрений, слушать, наблюдать. Пошлем вас к Леденеву военным комиссаром корпуса.

– Да какой из меня комиссар? – рассмеялся Сергей, ощущая, как его подняла и уже понесла на невиданный Дон абсолютная сила. – Ну эскадронным, полковым – еще куда ни шло.

– А может, нам и надо, чтоб вас подняли на смех – сосунка, молоко на губах... Вы поймите одно: он комиссаров вообще не признает. Не видит. Ему совершенно без разницы, кого к нему пришлют. Кого ни посылали – всякого уничтожал. Морально, но есть подозрения, что кое-кого и физически.

Сергей совсем похолодел.

– Мы бы послали человека опытного, испытанного, старого большевика, хитреца, дипломата, но, знаете ли, трудно совместить в одном человеке все требования. Чтоб не имел такого вида, что приехал ломать об колено, чтобы сам не ломался и чтоб при этом обладал... ну, дедуктивными способностями, что ли. Еще одно необходимое условие – чтоб он был Леденеву под стать. Ну как боец, как конный воин. А вы как раз кавалерист, по крайней мере обучались...

Сергей почувствовал тот страх, какой испытал на врачебной комиссии курсов, взмолившись бог знает к кому, чтобы его признали годным.

– На первое время, я думаю, этого будет достаточно, – усмехнулся Студзинский. – Есть у нас один ротмистр, горец. Так сказать, чемпион царской армии по фехтованию. Поднатаскает вас немного. Вы, Северин, коль согласитесь, поедете не просто в боевую часть, а как Марко Поло к монголам в орду. В своеобычную и, прямо скажем, полужвериную среду, где сильный уважает только сильного. Покажете себя – и Леденев признает вас за человека. Вот, скажем, прежний комиссар – надежный большевик, но вот интеллигент, и все тут. Буквально кожей ощущал свою ущербность рядом с этими центрами. А тут болезнь еще, чахотка... Ну, что скажете?

– Не понимаю. Подозрений ваших. Ведь сами сказали, что он-то и есть сама наша Красная армия. Историю ее писал с самой первой страницы.

– Так ведь история-то наша еще пишется. И сразу набело, с пометками да кровью человеческой. Не надо бы печальных глав. Согласитесь помочь – получите все нужные материалы. Еще раз повторяю: никто не ставит целью уничтожить его. Это было бы глупостью и прямым преступлением. У нас сложилось мнение, что он обижен. Вы, наверное, знаете, что полгода назад он был ранен, и корпус его отдали Буденному. И вот у Буденного целая армия, а Леденев отстал, застрял в комкорах – это он-то, который был первым всегда и во всем. Вы что же, не верите в такое мелочное себялюбие? Но знаете, я не советую вам навязывать чужой душе свои представления о ней. Может плохо закончиться – разобьете свои идеалы. Вы этого человека ни разу не видели. Он может оказаться много лучше, а может – много хуже, страшнее, чем вы о нем думаете... Ну так что, вы согласны?

– Согласен, – ответил кто-то изнутри Сергея, но в то же время находящийся как будто вне его и выше...

Он задремал под полстью на подводе среди завывающего мрака и неистового крутева метели – и вот пробудился: вокруг по-прежнему была слепая мгла, но ему объявили: приехали, и он различил в этой мгле притрушенные снегом соломенные крыши куреней. «Привольный, тарщкомиссар». Название хутора показалось издевкой – он был придавлен темным небом, полонен, запружен колготящимся скопищем лошадей и подвод, верховых, пеших красноармейцев, едва ли не дерущихся за хаты и сараи. Раскрытые хаты, когда-то, должно быть, нарядно беленные, угрюмо темнели нагими, сырыми стенами, плетни были повалены, воротца полусорваны с петель. Красноармейцы обдирали соломенные крыши, несли коням охапки этой жалкой, отсырелой соломы, волочили чучалы, корыта с овсом, какие-то бочки, тулупы...

«Ведь грабят», – как-то вяло, обреченно возмутился Сергей...

В глаза ему кинулось множество верховых лошадей – неужели настигли? неужели вот эти и есть леденевцы?.. Он будто бы и вправду ждал увидеть каких-то иных, небывалых бойцов – не то чтоб исполинов, но все-таки особенных людей, но на каждом дворе пресмыкались такие же, согбенные под ветром, обмороженные, серебряно-седые с ног до головы скитальцы; запо-

рошенные, как будто полустертые пургой, безликие и безымянные, они казались призраками; казалось, чуть сильнее порыв – и их сотрет вовсе, оторвет от плетней, от коней, от хлопающих на ветру брезентов и полстей, подымет, унесет, затянет в завывающую пустоту, против которой человек, и жизнь его, и вера не могут и не значат ничего.

– Вот и наши, Сергей Серафимыч, – подтвердил оживившийся Болдырев. – Вторая Горская бригада. Должно быть, и штаб тоже тут – тыловой. Эй ты! Подь сюды!..

Сергею уж и самому хотелось только одного – уйти с озверевшей земли, забиться в людское тепло, прикинуться к натоленной печке, согреть задубевшие руки на кружке с кипятком.

Сквозь гущину обындевелых яблонь засерел серый дом с мезонином, и вдруг откуда ни возмись, как будто из-под снега, возникли на дороге целых пятеро безликих, в косматых папах, с винтовками наперевес.

– А ну стой! – поймали под уздцы всхрапнувших, заволновавшихся гнедых. – Руки! Руки из карманов! Сдавайте оружие!

– Глаза разуй! Не видишь, кто?! – прирявкнул Болдырев. – Военком новый прибыл!..

– А по мне хучь всей армии, потому как при наряде мы! Вытряхай кобуры!

Сергей задергал заколодевшую крышку. Аболин достал вычищенный вороненый наган, протянул караульным не глядя.

Начальник караула по фамилии Неймак, черноусый, подбористый кавалерист в защитном полушубке и красных галифе, изучил документы Сергея и вопрошающе взглянул на неподвижного Аболина.

– Мне, товарищ, сапог надо снять, – ответил тот, подняв свои большие непроницаемо-тоскливые глаза.

– Да проведите нас хоть в сени, – потребовал Сергей. – Замерзли, как цуцики. Куда ему деваться? А убежит – пускай околеваает.

Вошли в натоленную комнату. Писаря, вестовые, штабисты. В углу у окна неумолчно стучал аппарат, второй телеграфист снимал с крутящегося колеса ползучую ленту.

Присев на сундук, Аболин с усилием стянул сапог и начал ковыряться в голенище, пытаясь отпороть подкладку, – замерзшие руки с худыми и длинными пальцами слушались плохо. Наконец уцепился и вытянул смятый, прогнувшийся по икре документ, протянул Неймаку.

«Документики такие к любому человеку можно прилепить, – припомнились Сергею слова особиста на станции Миллерово, где его самого заподозрили черт знает в чем, и только шифрограмма штаба армии подтвердила саму его личность. – И правильно – чего ты в них надеешься прочесть? На просвет их разглядывать будешь, как бумажные деньги, которые давно не стоят ничего? Смотри на человека, слушай, примечай... Забыл, дурак? Знаком он с Леденевым, и в этом сомнения нет. А почему же нет? Со слов его? По тону, по улыбке? Нет, брат, чепуха это, кажимость. Признает его Леденев – вот тогда...»

Пристроившись у печки, сняв скоробленную, гремевшую, как жестяная, шинель, которая намокла и замерзла от метели, он обратился мыслью к Леденеву. Раскрыл перед мысленным взором ту тяжелую, пухлую папку, которую ему дозволил просмотреть Студзинский, и вновь испытал то же чувство снедающего любопытства и стыда, как будто «дело» Леденева собрали не чекисты, а ищейки из царской охранки.

Поверх лежали две парадные фотографии – одна в защитном, а другая в черном френче и с орденом Красного Знамени на левой стороне груди. Обычно фотографии в газетах почему-то как будто роняли, даже и разрушали тот образ героя, который сложился в представлении Северина. Казалось, что в лице «такого человека» не должно быть обыденного, ни единого признака слабости, а уж тем более чего-то несуразного – и вот вместо лика с пронзительным взглядом являлась заурядная физиономия, которую не вырубили из гранита, а слепили из кислого теста, бессмысленный или испуганный взгляд, разлтая сопатка вместо носа, курячие гузно вместо твердого, повелевающего рта. И даже если человек на фотографии – и вживе – оказывался

видным, существовавший в представлении Сергея образ все равно размывался, уходил, вытесняемый настоящим лицом человека из кожи, с морщинками, оспинками. А уж когда увидишь живые...

Лицо всегда лжет, решил он для себя, – то есть не имеет отношения к тому, что внутри человека. Лицо героя может быть любым, а чеканный красавец, на котором так ловко сидит гимнастерка с ремнями, – оказаться мерзавцем и трусом. Но почему же мы с такою жадностью впиваемся в лицо любого незнакомца, гадаем по глазам, надеясь увидеть в них душу, и сколько описаний лиц находим у Толстого, Лермонтова и Тургенева, как будто непонятно, что истинная сущность проявляется только в делах? И не только гадаем, но и с первого взгляда проникаемся чувством симпатии, даже сродства или, наоборот, неприязни, а потом уже редко когда изменяем тому изначальному чувству, которое продиктовали нам одни наши глаза?

Да и влюбляемся в лицо ведь. Не обязательно в красавицу, но именно в лицо – все остальное у нас, в общем, одинаковое, а вот лицо у каждого свое, какое есть, его не переменишь. Невозможно сказать ни о чем: «лучше всех», так как не с чем сравнить.

Унюхать врага, как звери охотника, люди не могут – с того и тянутся к единственному, что у каждого из нас неповторимо: а по чему еще судить, хотя бы и гадая и обманываясь? Другого и нет ничего. Пока там до дела дойдет.

Бритоголовый, гололицый человек надолго примагнитил северинский взгляд. В лице и вправду было что-то от перемалывающей силы жернового камня. Высокий еще и в счет бритости лоб не то чтобы надломлен усилием какой-то трудной мысли, но как бы выдает искание какого-то единственного звука, какого-то неведомого равновесия (тут он, должно быть, все же навязал вот этой голове свое представление о ней как о таинственном и драгоценном аппарате). Крутые, выпуклые скулы, не то прямой, не то горбатый (в три четверти не видно) хрящеватый нос, широкий, тонкогубый рот, казалось неспособный улыбнуться, только двинуться в речи – смолоть. И именно такому взгляду присущи были эти лоб, и рот, и скулы: глаза большие, светлые, прорезанные в форме просяного зерна и никакие не пронизывающие – скорее отрешенные, обращенные внутрь, смотрящие куда-то мимо объектива, сквозь тебя, а если и ломающие встречный взгляд, то будто и сами того не желая и умея смотреть на людей только так.

А ведь и вправду будто бы двоятся – при всей законченности, цельности, неизменности вот этого лица. Спустя полминуты поочередного разглядывания Сергею поместилось, что с двух фотографий глядят два разных человека.

Один, при первом ордене республики, был пойман в минуту какого-то освободительного равновесия, согласия с собой самим – и выражение лица имел такое, словно весь этот переразгромленный мир его совершенно устраивал, словно его-то, Леденева, и предназначили, призвали перетворить все мироздание, и он-то и знает, как надо.

Другой же, без ордена, был словно придавлен какой-то невидимой тяжестью, смотрел, как из земли, которой его завалили по шею, из себя самого, как из плена, широкоплечей и широкогрудой молодой тюрьмы – не то чтобы затравленно, но с какой-то неясной тоской, не то приготавливаясь, не то уже оставив все попытки подняться из кресла, пересилиться, вырваться вот из этого френча и этого предназначения, из судьбы, из того Леденева, каким его знает весь Дон, вся разделенная войной Россия и которым он сам себя сделал.

«Да ведь тут он в победе, а тут в поражении, – поспешил объяснить себе это двоение Сергей. – Верно, после ранения. Смотри, как держит руку, – чужая, что протез. И обмяк, будто в теле ни одной целой кости. Но уже пересилился, встал и опять за собой тащит фронт... А почему на этой фотографии, позднейшей, нету ордена Красного Знамени?..»

Встряхнулся оттого, что в горницу вошел сутуловатый, долговязый человек, почти такой же молодой, как Северин, и удивительно белявый, чуть не альбинос, с длинным, голым, лобастым лицом, в котором было что-то фанатически упорствующее, староверчески строгое, общал их с Аболиным голубоватыми, как будто травленными чем-то до бесцветности глазами,

остановился на Сергее с мрачным оживлением, с каким провинциальный начинающий поэт глядит на столь же юного собрата, сидящего в очереди к знаменитому, принесся на оценку стихи.

– Шигонин, начпокор, – протянул ему руку. – Прошу вас заглянуть ко мне.

– Да-да, – сказал Сергей, одергивая гимнастерку. – А это вот, знакомьтесь, Аболин, ростовский подпольщик. Как у вас в политотделе – хватает людей?

– Людей не хватает катастрофически. Так что каждому твердому большевику будем рады.

– Предпочел бы увидеть начштаба, – отчеканил Аболин, – или начальника оперотдела. Необходимо срочно сообщить командованию корпуса: в укрепрайон под Персияновкой переброшены танки.

Штаб загудел.

– Слыхали такую брехню, – сказал широкоплечий рыжеусый штабист. – Нагнал уже Колычев страху.

– Слыхали, а я подтверждаю, – пожал плечами Аболин. – Не такая уж это фатальная сила, но все-таки людей необходимо морально подготовить. Второе: на высотах сосредоточены не меньше десяти тяжелых батарей – по большей части гаубиц шестидюймового калибра. По миллеровской ветке действуют три белых бронепоезда: «Ермак», «Илья Муромец» и «Атаман Каледин». На каждом до десятка корабельных орудий предположительно двенадцатидюймового калибра. Возможно, вам уже известно все это, но если нет, пошлите в части вестовых.

– Да-да, товарищи, немедленно, – усилился сделать свой голос железным Сергей, почувствовав, как щеки у него калятся от стыда: мальчишка! кочетком заливается!.. и еще больше покраснел от осознания, что неуклюже подражает метрономной четкости Аболина.

И тут же почудилось, что все вокруг прячут улыбки или косятся друг на друга с безглаголиво-жалостным недоумением, поняв, что он фук и комиссаром корпуса, громады быть не может... А следом вовсе уж безумное явилось представление: что – силами ЧК и Реввоенсовета! – поставлен идиотски-издевательский, бессмысленный в своей огромности спектакль: назначить его, сопляка, военкомом, как прежде венчали на царство юнцов, слабоумных, всучали им державу и скипетр вместо игрушек, а сами плели сети заговоров, душили дремучий народ царским именем.

Шигонин ввел Сергея и Аболина в соседнюю натопленную комнату, где стоял тот все-сильный, неистребимый дух бумаги, газетных завалов и тлена, какой присущ редакциям и канцеляриям и от которого Сергею хотелось убежать.

– Присаживайтесь к самовару. Вот, пожалуйста, хлеб, сахар, сало... А вообще у нас снабжение в печальном состоянии. Обозы отстают на много суток, бригады себя сами обеспечивают, то есть по сути живут грабежом. Гнусно, стыдно, позорно. Идем по Дону, как монгольская орда.

– И что же думает комкор? – спросил Сергей, беря дымящуюся кружку.

– Так у него на все один ответ: без сена лошадь не идет, без грабежа весь корпус встанет.

– А разве не так? – сказал Северин. – С голодными конями как же наступать?

– Так что же, и грабить? – взглянул Шигонин с мукой. – Порочить Советскую власть?

– Тут надо как-то разъяснить, что сейчас революция требует, чтобы каждый пожертвовал чем-то – личным благом, куском, сеном, хлебом.

– Речь не только о хлебе и сене, – усиленно выжал из себя Шигонин. – Отбирают имущество, драгоценности, золото. А это, знаете ли, вовсе... никакая не Красная армия, а разбойная вольница. Говоря откровенно, пример подает сам комкор.

– Тащит золото?

– Он прямо объявил бойцам: что добудете – ваше. Возьмете город – ваш на двое суток. Да и сам образ его жизни. Свой личный табун – до дюжины отборных скакунов, не говоря уже о том, что всем конезапасом корпуса распоряжается как хочет, и вкус к одежде соответственный,

к богатому оружию. А бойцы подражают: если их командиру все можно, то и им, надо думать, пограбить не грех.

– А вы какой хлеб едите? – осведомился Аболин.

Онемевший Шигонин посмотрел на него, как соляная кислота:

– Всякий ем. А иногда и никакого, знаете ли. Да, есть у человека первичные потребности, животные. Приходится питаться в долг у населения, но если уж на то пошло, из имущества у меня – этот чайник и бритва. А во-вторых, ответственности я с себя за наше мародерство не снимаю.

– Ответственность? – хмыкнул Сергей. – А делаете-то вы что?

– А я подавал свои мнения товарищам Колобородову, Анисимову, Шорину, и вам, полагаю, об этом известно, – поджал Шигонин губы.

– Ну а с бойцами-то, с бойцами говорили?

– Давайте уж начистоту и по порядку. Корпус наш существует всего четыре месяца. Да, грозная сила, из бывалых бойцов. Но что такое корпус в политическом, в моральном, в большевистском отношении? Одно слово – сброд. По настоянию Леденева все бригады пополнены не кем-нибудь, а пленными белоказаками, и это, между, прочим, до трети личного состава. А нам до сих пор не хватает воспитанных, твердых товарищей. Людей в политкомы берем из собственных же полковых ячеек – все больше крестьян, казаков, вчера только принятых в партию, а лучше бы, как сами понимаете, рабочих. Отношение массы бойцов к коммунистам, скажем так, не всегда уважительное. Представления о социализме полудетские-полудикарские, сказочные. «Чего раньше нельзя было, все теперь стало можно», «наше время – гуляй». Это не революция – это бунт дикой вольницы, крестьянский бунт, казачий, именно казачий, который хочет лично выиграть от революции и ничего не потерять. Земля и воля – вот их лозунг. Земля, что была у них при царе, и воля награбить чужого добра. Кого ни возьми, везут в переметных сумках барахло, перстни, кольца, монеты. У одного только бойца карманных часов четырнадцать штук...

Аболин издал какой-то всхлипывающий, хрюкающий звук. Сергей покосился – сидит с непроницаемым лицом.

– И идет это не от кого-нибудь, а от комкора, – продолжал, распаляясь, Шигонин. – Это он планомерно внушает несознательной массе, что политкомы в Красной армии – не то что люди лишние и бесполезные, но и прям-таки вредные. Он нас не замечает, при каждом случае высмеивает – причем в выражениях самых грубых и хамских, которые понятны этим людям.

«Ишь ты, какой аристократ», – подумал Сергей неприязненно, разглядывая постное лицо Шигонина.

– Для них мы как бы низший сорт людей. Болтуны, щелкоперы, обуза, не умеем скакать на конях...

– А вы умеете? – не вытерпел Сергей.

– Ну, знаете ли. Я же не спрашиваю Леденева, сколько книг он прочитал, знаком ли он с трудами Маркса, Либкнехта, Лассалья, поскольку я-то понимаю, что читать ему было и негде, и некогда. Пусть каждый приносит ту пользу, какую он способен принести. В конце концов, мы что же, прячемся в тылу? Бережем свои шкуры? А он от воспитания отказывается. Воспитывает корпус в духе идолопоклонства, и идол-то этот – он сам.

– Факты, – попросил Сергей. Перед глазами его снова стали перелистываться подшитые, проштемпелеванные, в порядке важности уложенные рапорты, докладные записки, протоколы допросов, машинописные и от руки, все больше летящим, поставленным почерком.

«Перед нами не возждь Красной Армии, а развращенный мелкобуржуазный вырождок с большим самолюбием и мелким тщеславием, военный честолобец, увлекающий за собой подчиненных ему людей, не отдавая себе отчета, куда и на что их ведет».

«Взгляды этого “диктатора” поражают своей сумбурностью и демагогичностью. Он хочет немедленно полной свободы для всех без исключения граждан, не то делая вид, не то и впрямь не понимая разницы между белым террором и нашим, направленным на классовых врагов трудового народа... Не то это осел между двумя стогами сена, не то опасный демагог и провокатор, который сознательно настраивает вверенную ему массу против партии большевиков».

«Не сегодня, так завтра он постарается повернуть штыки. Если этого не делается сейчас, то только потому, что он не чувствует твердую почву под ногами...»

«На вопрос, почему он не носит орден Красного Знамени, Леденев в моем присутствии ответил, что не хочет носить награду за убийство казаков – своих кровных братьев».

Многие докладные были за подписями виднейших большевиков, фамилии которых не сходили со страниц «Известий» и «Правды»... «Да если все так, как написано, почему же не трогают и дают воевать? Когда же он намерен повернуть штыки? Сметем Деникина – тогда?.. И почему же нет записок от краскомов, от сугубо военных людей? От одного только Гамзы, комбрига, челобитная: Леденев виноват, потому что меня невзлюбил, воевать не умею, потому что он сволочь... А ведь этот Шигонин больше всех и старается, пишет...» – вспомнил он и опять неприязненно начал слушать того:

– Открытое пренебрежение к нам, комиссарам, налицо. Леденев не на нас опирается, а исключительно на собственную славу и авторитет. Окружил себя бывшими белоказаками, превратил их в каких-то своих янычар. А те-то, конечно, – одно лишь его мановение – сделают все. Не дрогнув, не задумавшись. А как же – ведь спас от суда, а многих, надо думать, и от верной смерти. И в штаб набрал людей по собственному произволу. Неудобных изгнал, уничтожил морально. Об начальника штаба Качалова буквально ноги вытирал. А новый, Челищев, – из бывших офицеров, невероятно скрытный тип, что называется умеренность и аккуратность. Пишется из крестьян, а по виду и не скажешь.

– По виду судить – у нас половина штабов опустеет, – сказал Северин, намеренно открыто посмотрев в глаза Аболина.

Аболин улыбнулся ему, как учитель смышленому ученику.

– Начоперод же Мерфельд – вовсе дворянин и того не скрывает. Стоит за европейский парламентаризм и против пролетарской диктатуры, особенно когда напьется. Он, знаете ли, склонен – пьянка, женщины, устроил из штаба офицерский бардак. А комкор их обоих прибил.

– А с комбригами как? – перебил Северин. – С комполками?

– Комбриг Трехсвояков – по сути своей партизан, атаман, хотя никаких разговоров против Советской власти не ведет. Комбриг-три Лысенко настроен к нам открыто, недавно принят в партию, но и для него Леденев идеал. А вот Гамза, комбриг-один, отваживается спорить, за что Леденев его невзлюбил, называет бездарным, третирует. А Гамза, между прочим, в Красной армии с первых же дней. И, так сказать, обижен не меньше Леденева, даже больше: с дивизии был снят, понижен до комбрига, но при этом не ропщет, а делает дело.

– А Леденев чего же, проклиная?

– Я изложил вам факты, а выводы делайте сами. – Глаза Шигонина пригасли, словно он обманулся в Сергее и уже ни на что не надеялся.

– А как вы объясните, что комкор до сей поры не коммунист?

– А так и объясню, – проныл Шигонин, – что коммунистом он себя не видит. – Помялся и вытолкнул: – Вообще-то в прошлом месяце он подал заявление, но сделал это как-то... в общем, принужденно.

– Как нераскаявшийся грешник в церковь ходит, – подсказал Аболин.

– Да, ну и что? – разозлился Сергей. – Герой Красной армии стучится к нам в дверь, а мы ему не открываем? Быть может, для начала впустим, а там и он нам исповедуется?

«Черт знает что такое. Студзинский всем этим наветам не верит, но разве же могут товарищи Смилга, Брацлавский обвинять голословно?..» – Он вдруг и вправду ощутил себя ребенком, зачем-то принимающим участие в непонятном ему взрослом деле. Такая смутная, давящая тоска вдруг находила на него в далеком детстве и мечтательном отрочестве, когда в предчувствии неотвратимого взросления осознавал, что вот закончит он гимназию, поступит в университет, по примеру отца станет доктором, ординатором в земской больнице и будет вынужден заняться тысячью скучнейших, неотменимых мелких дел, в которых ничего не понимает и не желает понимать: взаимными кредитами, счетами, копеечными радостями выгодных покупок, хождением по разным канцеляриям – мушиной возней, мельтешней, заслоняющей что-то единственно главное, ради чего и посылается на землю человек.

А тут была не просто скукота – в свинцовые ряды и писарские кружева была, как в клетку, забрана судьба живого человека, да еще и того, кого он, Северин, почитал за героя, воплощение красного ветра.

«Война – занятие не для детей», – припомнились ему слова отца, пытавшегося удержать его от ухода на фронт, и он снисходительно им усмехнулся, жалея об утраченной прозрачности и детской цельности сознания. Как раз в бою и ясно все настолько, что можно ни о чем уже не думать, кроме боя самого...

В дверь кто-то резко постучал – Шигонин вскочил и выбежал в сени, вернулся с распечатанным пакетом:

– Вот, от Челищева. Немедля отбываем в Александро-Грушевскую.

Они поднялись одеваться...

– Ну и что вы обо всем этом думаете? – вперился Сергей в отрешенные глаза Аболина, когда они сели в тачанку.

– Я думаю то, что, не зная его, вы почему-то сразу встали на его защиту.

– Но вы-то его будто знаете – вот и скажите мне, что он за человек. Разделяет он наши идеи?

– А что такое наша идея? Учение Маркса – материализм, он говорит нам не о Боге и спасении души, а о свободе трудового человека и о средствах производства. Ну вот мужик и понимает социализм материально, то есть приземленно. Он не спрашивает вас о мировой гармонии и будущем всечеловеческом счастье, он спрашивает: что вы *мне* дадите? И мы, большевики, пообещали ему землю, машины, отобранные у богатых. Вот за это-то он и воюет. Земля и есть его свобода и единственное чаемое счастье, причем своя земля, своя, заметьте, которой у него никто не отберет.

– И Леденев – за землю?

– По сути, да, за ту же землю, за себя самого. Разве что он не пахарь и ему не земля нужна – армия. Как землю мужику, большевики пообещали ему армию, и он поверил в революцию – не отвлеченно, не умом, а именно инстинктом своего самоосуществления. Всей своей требухой – это не сомневайтесь. Но если вы вдруг отберете у него его силу и власть, то никакой уж веры в коммунизм не ждите – все его естество будет против.

– Так и не надо отбирать – зачем? – засмеялся Сергей. – Для того и революция, чтоб каждая личность предельно развила свои способности.

– Ну, вам осталось только объяснить эту простую истину всем тем товарищам, кто хочет удалить его от армии, боясь получить мужицкого Наполеона.

– А сами-то вы, сами, как к нему?..

– Одно могу сказать точно, – понизил голос Аболин, подаваясь к Сергею, чтобы возница не услышал его речь, – к белым он не перейдет ни при каких условиях.

– Почему же вы так уверены?

– Он ненавидит аристократию, смертельно, как волки ненавидят собак. И вас, кстати, тоже.

– Кого это «нас»? – не понял и дрогнул Сергей.

– Таких, как вы, как я, как Шигонин, – словом, интеллигенцию, не важно, по какую сторону окопов. Вы из какой семьи, простите? По крайней мере, точно не мужик и не черный рабочий, ведь так?

– И за это ненавидеть?

– А за что же еще? Ведь это-то и есть неравенство, причем куда более мучительное, чем между богатством и бедностью. Бедность что – любое материальное имущество можно обобществить, а чтобы научиться понимать стихи, возможно, и жизни не хватит. Для этого нужны среда, преемственность. Да и богатство-то, верней определенный уровень достатка – это и есть необходимое условие культуры. Ну представьте себе: вы у книжного шкафа росли, какой-нибудь барчук и вовсе воспитывался гувернером и на трех языках лепетал с колыбели, а Леденев до производства в унтеры ни разу досыта не ел. Так как же ему нас не ненавидеть? За нашу музыку, стихи – господские, по сути, то есть недоступные ему. Он хочет аристократического по-своему государства, мужицкого, да, а верней, для себя – мужика. За то и воюет с вчерашним хозяином русской земли, военного искусства, книг, дворцов. И в Красной армии себя аристократом держит, то есть требует самого лучшего, но не по праву происхождения, а именно по праву личной силы.

– Так это же для всех, – сказал Сергей.

– Что для всех? – Аболин посмотрел на него с гадливо-жалостной улыбкой.

– Науки, книги, музыка – для всех! – воскликнул он с глухой, ожесточенной убежденностью. – За это и воюем.

– За это *вы* воюете, – не дрогнул ни единой жилкой Аболин. – А Леденев вас спросит: ежели для всех, какой же я тогда аристократ?

Сергей онемел. Никогда он не слышал такого от большевика. Ему показалось, что этот человек не то чтоб издевается над ним и надо всем, во что они оба обязаны верить, но убежден, что вековое, всемирное неравенство людей победить невозможно.

Лицо и твердые, непроницаемо-печальные глаза Аболина совместились с другим, ненавистным лицом: на Сергея бесстрашным, презирающим взглядом поглядел вдруг начальник их курсов, заговорщик Агорский, стоящий у облупленной стены перед расстрельной их шеренгой, и Сергей, вырастая, огромнея, выкрикнул: «товсь!» Глаза Агорского – Аболина вдруг мигом расширились, как будто изготоясь взглянуть во все себя на что-то ослепительное, голова инстинктивно втянулась в поджатые плечи, и весь он подался вперед. «Ага, боишься, сволочь!» – Сергей, ощущая прозрачную твердость кристалла, скомандовал: «Пли!» Словно в самой его голове, в клетке ребер раздавшийся залп швырнул его в неизмеримую, сияющую высоту. А где-то внизу, на далекой земле, Агорского толкнуло к стенке, и, весь как-то разом осев, он упал на лицо. И было небывалое преображающее чувство – своей алмазно твердой, цельной правоты, добела накаленной, беспримесной ненависти к ядовитому гаду в человеческом обличье, давить которого необходимо и естественно, такое чувство, будто кто-то смотрит на Сергея свыше – одушевленная, по высшей мере строгости взыскующая сила. Но вместе с этой правотой, а может и под нею, под броней долга, он почуял ничем не объяснимое и не оправдываемое возбуждение, отчасти и пугающую радость своей звериной мощи. Откуда же эта животная радость?

«А вот откуда! – поспешил объяснить он себе, с нескрываемой злобой вглядываясь в Аболина. – Ну что ж ты замолчал? Поговори еще, поговори! Покажи, кто ты есть... Не выйдет, значит, да? Не будет книг и музыки для каждого? И Леденев-то в революцию пошел, ровно зверь за поживой, из одной только злобы на свою нищету, за одной только силой и властью для себя самого? Подлец человек, и как делились люди на хозяев и рабов, так и будут делиться? Ну, так?...»

– Мы с ним не виделись почти два года, – сказал Аболин, ничем не выражая ни смятения, ни спешки оправдаться. – Мировоззрение его могло за это время измениться. Да, он самолюбив, он хочет славы... А разве вы, простите, не хотите – стать еще одним именем доблести? Чего ж в том постыдного, если слава заслуженна? Да, он не признает оглобли, да, требует определенной автономии. Да, беспощаден к своим людям, но согласитесь, армия – по сути своей среда антидемократическая. И для того, чтобы вести людей на смерть, нужны особенного склада люди, такие, как он, Леденев. Война – его предназначение. И в этом смысле он аристократ. Причем аристократ по праву – ведь он и себя не жалеет, и ничего не требует от собственных людей, чего бы не делал он сам. В конце концов, спросите их самих, – кивнул на шинельные спины плывущих по четверо в ряд леденевцев, – кого они в нем видят.

С Сергея как будто бы морок сошел: да какой же он враг? С каких это пор трезвомыслие стало крамолой?

– А что касается науки, грамоты для всех трудящихся, – усмехнулся Аболин, – то, думаю, он против этого не возражает. А тех, кто не давал народу пробиться к разумному, доброму, вечному, как я уже сказал, смертельно ненавидит.

– А интеллигентов? – напомнил Сергей: вот это-то его в словах Аболина и укололо.

– Да, не любит, – невозмутимо подтвердил тот. – А вы еще не поняли? А у кого ж вы были комиссаром, извините? В рабочем полку, полагаю, – там ребята сознательные, да и то... Вы поймите, крестьянская масса и люди образованные говорят на разных языках. Всего четверть века назад – да где там, вчера – крестьяне побивали докторов, приехавших лечить их от холеры: немчура, отравитель, ату его. Столетиями господа показывали мужику свое превосходство над ним: пороли и тыкали в нос своей образованностью. Отсюда и естественное недоверие, завистливая ненависть к любому, кто, как говорится по-ихнему, дюже складно гутарит и умственность разводит. Отчего же, вы думаете, так страдает товарищ Шигонин? Отчего в героическом корпусе так презирают комиссаров, и заметьте, не всех, а вчерашних газетчиков, учителей? Чужие они мужику. Вояки никудышные – очки на носу, ручки тоненькие, – а всей его, мужицкой, жизнью пытаются руководить. А чем же они лучше прежних-то господ – таких же белоручек и бесплодных болтунов? Ведь это доказывать надо. Что казак, что мужик одинаково не доверяют и его благородию, и комиссару. Вы ему, мужику, про коммуны, а он понимает, что вы у него корову хотите отнять, мудреными словами прикрываясь. Опять холерный бунт, но уже против власти Советов. И Леденев не исключение – он ведь в корне такой же мужик. Словом, я вам не завидую. Вам, человеку молодому и в житейском отношении, простите, все-таки неопытному, поручено воспитывать его, который знает о войне и смерти неизмеримо больше вас.

IV

Август 1914-го, Восточная Галиция, Бялогловы – Ярославцы

Нескончаемый цокот копыт. Чуть слышно звякали уздечки и оружие, и так же беззвучно палили зарницы в ночи, на миг выхватывая из кромешной темноты как будто самый край земли, где живут уже не люди, а какие-то призрачные великаны.

Последние звездные россыпи гасли, светлела дымчатая голубень в зените, и в густеющем тумане из мест невиданных в места неизвестные плыли взводными колоннами кавалерийские полки, и все казалось невсамделишным, не только лишившимся естественных, привычных очертаний, но даже будто бы расторгшим пожизненный завет с самой своей вещественной природой: и редкие деревья, стоящие по грудь в туманной дымке, и бледные поля чужой земли, затопленные тихо зыблемым, причудливо курящимся голубоватым молоком, и серые спины передних гусар, и крупы коней, и даже ты сам – как собственная тень, сбегавшая от самого тебя и действующая мимо твоей воли.

Далеко позади остался пограничный столб, где на каменной грани, обращенной к востоку, на чугунной пластине оттиснуто было: «Россия», а на обратной стороне отшиблена плита с австрийским императорским орлом и чьей-то рукою написано: «Тоже Россия».

От покрытых росой лошадей, от земли, от травы, от всего идет пар. Будоражаще пахнет пресным запахом влаги, овсами, бражным запахом хмеля с золотисто-зеленых плантаций, розовеют в потоках восходящего солнца наливные, духмяные травы, нарядные, приманчивые в предосеннем, возвещающем о скорой смерти цветущему. Как белый кружевной прибор, встают на горизонте девственные гречишные поля. Мерный ропот копыт убаюкивает...

Вдруг густой перекастистый гул – как будто лошадь протатила по гумённому посаду мольтильный каток. Леденев встрепенулся. Рядом с ним ворохнулся Блинков:

– Это что же? Стреляют никак?

Низкий гул наплывал из-за белого поля гречихи, с заката, но земля под копытами оставалась бездрожной.

– Ты как, Леденев, не робеешь? – всмотрелся в Романа Блинков. – А у меня чегой-то дрожь в печенках.

– Надрожись еще, – огрызнулся Роман.

– Эскадро-о-он! Рысью! Марш! – пропел татарковатый ротмистр Барбович, давая шпоры кровному английскому коню, и Роман, подражая его наставленному голосу, повторил прозвеневшую над головами команду.

Впереди был еще эскадрон, машистой рысью утекающий в туманную лощину, и Роман видел только лоснистые серые крупы и гусарские спины да колыхавшиеся в такт им пики с четырехгранными стальными остриями и не знал, ни куда, ни зачем продолжает катиться весь полк.

Кто он в этом потоке? Кто ведет неохватную взглядом, текучую массу людей и коней, разгоняет ее, поворачивает, разбивает на части и сливает опять воедино? Леденев попытался представить громадность ума одного человека, чьей волей движутся все эти тысячи, и голова его поникла, раздавленная тяжестью такой мыслительной задачи... А орудийные раскаты загромыхали уж не впереди, а по правую руку. Земля загудела, и лошади заволновались.

Нырнули в ложбину, зачавкали в бурой грязи, и стало слышно близкий резучий визг шрапнели – и Леденев почуял каждый палец на ноге и каждый волосок на голове. «Что же это со мной? Неужели и вправду боюсь?»

Открывшись всеми порами, как губка, вбирал он томительно долгий, буравящий свист: «вью-па...», «вью-па...» – и чувствовал в себе такой же трепет, что и в длинно-нескладном Блинкове.

Посмотрел на Барбовича. Тот как врытый сидел на своем англичанине, скуластое лицо с закрученными черными усами и широко поставленными песьими глазами совершенно не двигалось. «Не боится, привык на японской. Для него этот визг вроде жаворонка. Значит, можно привыкнуть? Или отроду это дается одним, а другим – никогда?»

Гусары, не вертясь, косились друг на друга, с любопытством ловя все движения на чужом построжевшем или жалко-растерянном, туповатом лице, как будто сверяя свои чувства с чужими и радуясь тому, что и полчане испытывают тот же безотчетный страх.

Сухое цоканье и визг шрапнели наконец оборвались, и Леденев вдруг догадался, что слышались они не более минуты и только чувство ожидания и страха («сейчас в меня, сейчас в меня!») растянуло вот эту минуту в длинейший промежуток времени.

В лучах восходящего солнца простерлась равнина. Отточенное жало проселочной дороги уперлось в зубчатую прошву соснового леса, и из этой туманно синевшей чащобы, в сером мареве поднятой пыли, нескончаемым серым червем выползали чужие колонны.

– Вон они! Вон они! – прокричали сразу несколько голосов.

Откуда-то справа и сзади неистово садила наша батарея – снаряды, клекоча и скрежеща, перелетали через головы гусар. Воздух там, над дорогой, над лесом, клекотал от шрапнельных разрывов, словно лопались на сковородке поджаренные кукурузные зерна, превращаясь в курчавые белые хлопья, и река вытекавшей из леса австрийской пехоты волновалась, вскипала, растекалась по полю ручьями и каплями и бежала обратно в сосняк.

Полковая труба заиграла «поход». Барбович, выскакав пред строй, вырвал шашку из ножен. На левом фланге мягко, все быстрее загрохотало множество копыт – соседний первый эскадрон, развернувшись во фронт, покати́л на равнину.

В груди Романа все залубенело. Он был в первом ряду, правофланговым унтером.

– Шашки вон! Пики к бою!..

Земля утробно охнула и загудела, как железная крыша под проливнем, и Леденев почувствовал себя не всадником, а исполинским валуном, захваченным такими же камнями, катящимся по нескончаемому склону, сминая, расшибая все, что на пути, и торя путь всему камнепаду.

Натянутая на разрыв, летела навстречу каштаново-желтая пахота – уже не борозды, а бешеная смазь. Оскаленные лошади, сжимая ноги в ком, стлались в броском намете, раздутыми ноздрями хватали с храпом воздух.

«Вот оно! Вот оно!» – исходил Леденев кровным криком, воздев над головой клинок, со свистом рассекавший встречную воздушную струю.

«Тють-тють-тють! Тиу! Тиу!..» – услышал он сквозь ветер соловьиное, сверлящее цвikanье пуль. Хрипатыми цепными кобелями вгрызлись в мягкий гул копыт невидимые пулеметы, без передышки рассевая тошный визг, но ему почему-то уж не было страшно. Опустив шашку долу, весь клонясь к мокрой шее коня и ноздрями вбирая горячую, острую смоль его пота, Леденев не выдерживал и распрямлялся, пытаясь разглядеть сквозь пыль голубовато-серые мундиры австрийков, но видел только темный лес и множество летучих силуэтов ушедшего вперед оленичевского эскадрона, на уступе которого шел их второй.

«Тють-тють-тють! Тиу! Тиу!..» – чевыкали пули, выбивая по пахоте пыльные хлопья. На всем скаку у лошадей подламывались ноги, гусары обрывались до земли, летели через конские, упрятанные в землю головы, толчками выбитые из седла... Не в силах задержаться, на них летели задние, перепрыгивая, спотыкаясь, не успев дать лансаду, ураганным катком проходясь по затору лихорадочно бьющихся ног, животов, с неотвратимостью втолакивая в землю распятых под копытами людей.

«Сейчас, сейчас дорвемся...» – из ладони, сдавившей эфес, выжимался такой липкий пот, что им, казалось, можно было склеить битую посуду. Он все острее чувствовал близость той невидимой черты, что отделяла всех их от австрийцев, – но незримая эта черта как будто бы неумолимо отдалялась от него с такой же быстротой, с какой он рвался к ней, вытягиваясь в стрелку.

Слитным гулом копыт задавило стрельбу австрийков. Летевший стройным фронтом первый эскадрон изломался, рассыпался, докатился до леса враздробь и, казалось, бесцельно сверлил теперь землю гривастыми смерчами. Доскакивая, Леденев уже не понимал, кого рубить, и чувствовал себя борзым кобелем, последним дорвавшимся к волку, которого уж облепила и грызла вся стая. Он видел вздыбленных коней и между ними серых австрийков; один, сидевший на задку, пытался зарядить винтовку с усердием и неуклюжестью ребенка, и из ушей его ручьи крови, другой царапал древко пронизавшей его пики, в то время как третий валился ничком, как будто пытаясь поймать разбежавшихся невидимых кур... Живые поднимали к небу руки, стоя на коленях, или брели неведомо куда, словно опоенные чем-то...

Визгливо ржали раненые лошади, невыносимо было видеть их последние усилия подняться – показать, что они еще живы, что убивать их нет необходимости. Что-то невыразимо тоскливое было в их неотступно-упорных глазах – они, как люди, чувствовали то неотвратимое, торопливо-озлобленное, виноватое, что выражали позы и движения хозяев.

Рубить было некого... Вот взмыленная лошадь протащила мимо Леденева мертвого гусара. Белесая от пыли гимнастерка сбилась комом, занавесив лицо, и Леденев увидел только оголившееся тело – решетку ребер и податливый живот. Безвольно волокущиеся по земле корявые коричневые руки.

На опушке соснового леса – веерами, цепочками трупы. Голубоватые австрийские мундиры. Большинство были срублены сзади. Казалось, что их рвали звери: наосклизь стесанная кожа свисала с защищающихся рук и черепов кровавыми лоскутьями, ошметья этой кожи с ключьями волос висели на траве, как выдернутые перья сражавшихся за самку стрепетов.

Рубили неумело – должно быть, обезумев от небывалости происходящего, как будто и не пашками, а розгами секли, подвергнув австрийков страшной экзекуции. И тем страннее были попадавшиеся среди страдальческих оскалов безмятежные, разглаженные лица – с замерзшей на губах признательной и успокоенной улыбкой, словно убитым еще только предстояло увидеть что-то необычайное, словно в смерти одной и нашли долгожданное освобождение ото всей своей трудной, безрадостной жизни и теперь-то и стало возможно улыбаться чиликанью птиц и высокому синему небу.

С полсотни пленных австрийков сбились в кучу: в чужих своих кепи, в окованных желтых ботинках и гетрах, они не сводили с гусар обожающих глаз, не опускали грязных рук, упорных в своем устремлении к солнцу, как ветви деревьев, и заискивающе улыбались, словно уже благодаря за то, что их умыли кровью и лишили оружия, которое им и таскать не хотелось, не то что стрелять. Одни онемели, другие же без перебора лопотали на своем гортанном языке и с бешеным, мучительным усердием глухонемых жестикулировали, как будто говоря: «смотрите – и мы тоже люди, и у нас по пять пальцев на каждой руке и такие же уши».

Несли на пополах убитых и раненых.

– Ротмистра наповал, – услышал Леденев восторженно-срывающийся голос и, обернувшись, увидел корнета Селезнева, едва пробившиеся бархатные усики которого подергивала дурковатая, счастливая улыбка.

Убило Оленича, командира соседнего, первого, отличившегося эскадрона, потерявшего под пулеметами одиннадцать гусар убитыми и восемь ранеными. Леденев вспомнил дюжего ротмистра с простоватым мужицким лицом – как Оленич плескался с гусарами в речке, гоготал, исчезал и выныривал среди мокрых голов и кирпично-коричневых шей, как будто прикле-

енных к белым телам, как на мокро-блестящей спине его перекатывались и бугрились чугунные мускулы, – и не смог вообразить того мертвым.

Эскадрон их немедленно был выслан в дозор – за лесом показалась деревенька и ослепительно сверкающее зеркало реки в извилистых пологих берегах. К полудню деревня была занята. Всех жителей как веником повымело. По улице снежными хлопьями стлался подушечный пух. Тянуло гарью близкого пожара. Почти все стекла были выбиты сотрясением воздуха.

От реки наносило живительной свежестью. И припотевшим лошадям, и людям хотелось по шее забраться в прохладную воду, но вместо этого пришлось рыть общую могилу для погибших и окопы.

Завистливо поглядывая на коноводов, погнавших лошадей к реке, гусары врубались лопатами в заклепшую на солнце супесную землю.

Окопы были вырыты глубиной по колено, когда на околицу выскакали полдюжины нарядных всадников на кровных английских конях, с конвоем оренбургских казаков в мохнатых волчьих шапках.

– Взвод, становись! – волнуясь, крикнул Леденев. – Равнение на-право! Кэ-эк стоишь?!

Глядя на обвалившихся свыше штабных офицеров в их красиво подогнанных, чистых мундирах, он опять ощутил, что отделен от них невидимой стеной, – и даже если б все они сейчас, раздевшись до порток, полезли в речку наравне с гусарами, то все равно б не смыли холод отчуждения, так и оставшись для него «высокоблагородиями».

Офицеры подъехали к строю застывших, сверх всякой меры пучивших глаза гусар. Перед глазами Леденева остался лишь высокий, стройный, сидевший в седле как влитой генерал. Высокий купол лба, холодная зоркость в глазах с опущенными книзу, как у породистой собаки, уголками, твердо сомкнутый рот с энергически выпяченной крупной нижней губой.

– Устали, братцы?

– Никак нет, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ство! – закричал Леденев, стараясь, чтобы в каждом слове у него зазвенел каждый звук.

– Врете, унтер, устали, – сказал генерал, смотря на него цепенящим, вбирающим взглядом. – Но надо терпеть. Оставьте работу, ребята. Помолимся за упокой наших павших товарищей.

Тела всех убитых у леса гусар снесли и уложили в ряд у вырытой могилы. Граф Келлер со штабными спешили и молча обнажили головы.

Полковой поп Василий, надевший золотую ризу, взял пахнущее раскаленными углями и горьковатым ладаном кадило и густо затянул: «Помяни во Царствии Твоем православных воинов, на брани убиенных, и приими их в небесный чертог Твой, яко мучеников изъязвленных, обогранных своею кровию...»

Лучи полуденного солнца, зиявшего белой дырою в зените, отвесно били в обнаженные, потеющие головы, блистали на зеркальной поверхности реки, на желтой латуни кадила, которое, качаясь на цепочке, бросало солнечные зайчики, заставляя живых, подражавших в неподвижности мертвым, прижмуриваться.

Воздух был напоен одуряюще-пряными ароматами трав, неумолчно звенели под каждой травинкой кузнечики, брунжали изумрудно-радужные мухи, от реки несло сладостной, притягательной свежестью – и только мертвые с их благодарными, лукавыми улыбками, с уже подернутыми восковою желтизною и как бы попрозрачневшими лицами были бесповоротно чужими вечно юной земле, непричастными к пению, блеску и теплу всего этого светоносного мира.

«Вот так и я бы мог лежать, и Барбович, и даже граф Келлер, и никакой бы разницы между нами уже не было», – подумал Леденев. Ему вдруг стало ясно, что перед этой самой ямой он никакой уж не мужик и уж тем более не унтер-офицер 10-го Ингерманландского гусарского полка, равно как и Барбович никакой не дворянин, а Келлер не громадный ум военного начальника. Но вместе с тем сильнее всего хотелось переступить затекшими ногами и отмахнуться

от настырной мухи, лезущей в глаза, и, казалось, ничто не мешало тем же жадным, тоскующим взглядом смотреть на господ офицеров и помышлять о том, как проломить невидимую стену между ними и собой...

Деревню затопили конные полки: текли по улочкам драгуны-новгородцы, одесские уланы, казаки с голубыми лампасами Оренбургского войска, разбитые на сотни по мастям своих коней: вороные, буланные, огненно-рыжие... Тянулись батареи, патронные двуколки, обозные телеги, лазареты...

На рассвете полк выступил из Бялоглов. Окопы, вырытые ими накануне, остались памятником бесполезной земляной работы, разверстыми могилами, назначенными неведомо кому.

Все доступное слуху пространство покрыл слитный гул – казалось, ворчит растревоженная утроба земли. На юг повернули сперва казаки-оренбуржцы, а затем и драгуны с гусарами-ингерманландцами. Прошли версты три, и по взводным колоннам полка прокатилась команда «направо». Клубилась белесая пыль, оседала на лицах, фуражках, усах, и вот уж все гусары были белы, как мельники в завозный день. Бескрайне лоснились заливы нескошенной зрелой пшеницы.

– Эй, Леденев! – позвал Барбович, вглядываясь в карту, разложенную на колене. – Видишь ту высоту? Возьми шестерых, огляди и назад.

Роман повел разъезд к высокому и длинному увалу – напрямки и по пузо в пшенице. Что было по ту сторону, можно было понять, лишь поднявшись на гребень. Речушку с обвалившимся под телегами беженцев деревянным мостком переехали вброд. Припотевшие лошади радостно бросились в воду, привставали и пили, понукаемые поспешавшими всадниками.

Буян легко взял длинный склон, и первое, что Леденев увидел с гребня, – заполонившую весь оком громаду пыли, даже будто бы изжелта-серую суховейную мглу, которая неотвратимо напознала на разъезд, просто слишком ленивая в своей мощи и плотности, чтобы сразу прихлынуть к увалу. И вот сквозь это медленно растущее и наплывающее кипевое, туманно-голубые, красноцветные, проступили бруски бесконечных походных колонн. Перед Романом ожила батальная картина, где все боевые порядки походят на подстриженные по линейке шпалеры дворцовых садов, столь безупречно ровные и стройные, что кажется, весь смысл их – красота незыблемого строя, и даже жалко их прореживать картечью и разламывать снарядами.

Это был горделивый парад: небесно-голубые колонны кавалерии текли из-за видневшейся южнее высоты и разворачивались фронтом, блистая на солнце латунными касками. Торчком, как хохолки и гребни пернатых самцов в брачный месяц, стояли красные и черные султаны из конского волоса, червонели нарядные штаны, синели васильковые мундиры с галунами и куртки внапашку.

– Ох, мать честная! – выдохнул Блинков. – Да сколько ж их, братцы?!

– Ходу! – хрипнул Роман, поворотив Буяна шенкелями.

Слетели с увала наметом, пустили коней во весь мах, суховейной струей прорезая пылящую стежку в золотистых заливах высокой пшеницы. «Вот возьмут высоту – и сомнут, не успеем во фронт развернуться. Обогнут и ударят во фланг», – трепетала тревожная мысль... И, будто падая назад, почти ложась на круп Буяна, еще доскакивая, выпалил Барбовичу в глаза:

– Там, там они, вашбродь! За высотой! До трех полков, а то и больше!

– Охлопков, ко мне! В штаб наметом!

Не успел поскакавший Охлопков уменьшиться до размеров букашки, как полковые трубы кинули «поход» и «все». И с завораживающей быстротой и слитностью, как будто ринулась по прорезям нагорная вода, переливаясь из одних незримых русл в другие, колонны начали развертываться в линию. И Леденев, равняя взвод, с недоумением увидел, что за спиною у него во всю ширь поля не осталось никого и что левее от гусар пустынно желтеют заливы пшеницы – и нет там никакого висячего крыла на случай фланговой атаки австрияков.

И снова тысячи копыт послали глухой, ровный гул во всю ширь и даль пшеничного поля, и снова показалось, что гул этот рождается где-то в самой утробе земли, заражая людей и коней иступлением скачки.

«Да как же мы без фланга? – успел подумать Леденев, захваченный потоком лошадей. – Ведь и не знаем толком, сколько же их там, – зачем полезли в гору, как свиньи бесноватые?..»

Высокий лысый холм заставил слитную волну полков растечься на два рукава, уланов – огибая справа, а гусаров – слева, и в тот же миг, как будто настигая тревожную мысль Леденева, расплавленной червонной медью хлынула команда прямо в череп: «Держаться на уступе!»

«Вот тебе и мужик – не глупей генерала!» – ощерился в намете Леденев. Впоследствии все офицеры полка говорили, что никакой команды не было, и значит, этот трубный глас ему лишь причудился, должно быть, выданный рассудком за действительность, и все четыре эскадрона приотстали не по воле человека, а по велению самой земли, как вода повинувшись ее переклонам, изгибам и трещинам. Перед полком и впрямь блеснула все та же узкая и мелкая речушка, и все они, гусары, задержались, перебивая ее вброд, в то время как уланы, оторвавшись на версту, ушли вперед и захлестнули весь восточный склон еще безлюдной высоты.

Высокая, в пояс, по конское пузо, пшеница, обвитая цапучей повитью, до крайности стесняла пластавшихся в намете лошадей – живым многоногим катком сминали ее эскадроны, и в золотистых тучах пыли Роман уже не видел ничего. Молочно-сладкий дух налившихся колосьев душил сильнее паровозной сажи...

Когда же наконец взмахнули на гору и схлынули с нее, то впереди простерлось только голое, дымящееся поле. Все так изныли в бесконечной скачке-ожидании, что ничего уже не понимали, остервенело продолжая свой слепой и, казалось, бессмысленный бег.

Леденев, правофланговый в первом ряду, завертел головой и увидел правее, с собой наравне заволокшее землю на тысячи три десятины безобразное облако – то, чего в первый миг он не смог осознать как действительность, поскольку никакого подобия не знал. Схлестнулись два течения – красно-синие волны австрийцев ломили, запускали свои языки в желто-серую киповень новгородских драгун и одесских улан... и, казалось, уж неотвратимо хлестали в охват сокрушенного нашего левого фланга, на котором был должен рубиться 10-й гусарский.

– Направо! Направо, вашбродь! – сипато крича, на всем скаку вклепился взглядом Леденев в глаза Барбовича, не то умоляя, не то выдерживая из него команду, как по шляпку вколотый гвоздь из дубовой пластины.

Барбович кинул взгляд на желто-черное, с трепещущим распятым полковое знамя и начал что есть силы отмахивать пашкой направо, сигналив командиру о заезде. Сполохом завихрилось летящее полотнище штандарта, и за ним, как секундная стрелка на огромном земном циферблате, повернулась вся линия четырех эскадронов.

«Вот так! Вот так!» – кидал сажени Леденев, летя наперерез блистающей железом красно-синей реке, и уже, как биноклем притянутые, различал сквозь белесое курево конские крупы, бока, оскаленные морды с плитами зубов, гривастые каски, усабые лица и даже номерные нашивки на мундирах... а краем глаза – острия гусарских пик, в которые уже перелилась все поступательная сила лошадей: что ни встретит, подымет и насквозь пробежит.

«Вот этого зараз!» – наметил рыжеусого драгуна с безумными белесыми глазами, зашел к нему с подручной стороны на всем скаку, привстал на стремянах, забрав поводья, и с закипевшим кровью сердцем обрушил на темя косою, с потягом удар. Всею вложенной силой – ровно палкой по дереву! Прямо перед глазами обжигающе вспыхнула кровь – пашка косо упала на латунную каску, соскользнула, стесала с лица австрияка лоскут, – и от этого всполоха где-то в самом нутре Леденева, будто бы и не в нем, сквозь него, из далекой утробы земли, нечеловечьим кличем прародителей, завидевших враждебного им зверя, неподдаваемое плеснулось возбуждение, направляя всю силу Романа – прорубиться в чужую животную глубину, где все мягко и жидко, и весь мир себе застить этой алой прорехой, как солнцем.

Драгун всплеснул руками, обнимая близь и даль, – в его синюю спину вбежала и вырвалась из живота окровавленным жалом тяжелая, длинная пика. Во весь скок налетевший Блинков просадил – и с вылезавшими из орбит глазами, силясь выдернуть, ронял ее под тяжестью валящегося тела.

Вибрирующий конский визг и человеческие вопли выхлестнулись к небу. Накат гусар был так внезапен, слитен и тяжел, что не только весь фланг красно-синих драгун смяло, как наливную пшеницу суховейным порывом, но волна разрушения, ужаса и животного непонимания прокатилась от края до края всего их протяжного фронта. Пики, взятые наперевес, как соломенных чучел, вырывали из седел, подымали на воздух австрийцев, с ровным остервенением лёта входили в бока лошадей, застревали меж ребер, увязали в кишках, продолжая давить, корчевать, опрокидывать.

В один неуловимый миг по фронту эскадрона вырос судорожно бьющийся, в белесых тучах пыли, многоногий синий вал, и через этот бурелом живых и мертвых безудержно хлестали, перемахивали хрипящие от возбуждения гусары. Но тут уже сломались все строи, не стало ни полков, ни эскадронов. Вломившись валунами в глубину австрийского порядка, гусары притерлись к врагам стремя в стремя, и с длинными пиками стало не развернуться, как с веслами среди саженных волн. Клинки соскальзывали с гребней и пластин австрийских касок, не просекали и добротные суконные мундиры, верней бараньи куртки за спиной.

– Бей в рожу! Бей по шее! – с клокочущим хрипом закричал Леденев.

Он ни о чем уже не думал – и все понимал. Неведомо где зарождаясь, по телу его от плеча до сабельного острия, до струнного гула поводьев в руке, до кончиков конских копыт проскакивал вещий озноб, сжимая его в ком и распрямляя, кидая вперевес на нужный бок, выгибая дугой, отпуская, посылая в крутой поворот, сообщая, какой нужен крен у клинка, чтоб не вырвало шашку и не выбило кисть. Будто кто-то другой, находящийся сверху или, может, внутри него, в ребрах, в смышленной крови, начал им управлять точно так же, как сам он – Буяном, поворачивая шенкелями и давя мундштуком на язык. Чужие лошади, гнедые, выворачивая кровавые белки, тянулись к нему и Буяну ощеренными мордами и ляскали зубами, как цепные кобели, норовя укусить за колено, за конскую шею.

Отбив левый бок, змеиным выбросом руки кольнул в усатое лицо, заставив отпрянуть, забрать в поворот, и тотчас, скрутив себя в жгут, вполоборота полоснул по шее и второго, проскочившего мимо австрийца. Шея лопнула алым разрубом, драгун повалился ничком, и рыжая лошадь под ним шарахнулась в сторону, как будто испугавшись своей тени, ворота ошалелую морду от струи незнакомой ей крови, понесла по дуге с исступлением обезглавленного петуха, налетая, сшибаясь с другими...

В тот же миг он увидел, как падает навзничь Самылин с изумленно-ослепшим лицом, как еще одна пуля ударила в лоб Коломийцу, потряхнув и как будто опростав тому голову, – обоих с десяти шагов свалил австрийский офицер с диковинным каким-то пистолетом на шнуре.

Леденев поскакал на него, заходя круто слева, под терзавшую повод, безоружную руку. Офицер вмиг заметил заезд и едва уловимым движением выстрелил из-под руки. По щеке жигануло – Леденев что есть силы швырнул себя вправо.

Офицер дострелял по нему всю обойму и вырвал палаш, подзывая к себе Леденева глумливо-одобрительным криком. Палаш его, описывая в воздухе певучие круги, с осиным упорством искал леденевскую голову, выматывал, вылущивал из кожи, выкручивал Роману руку с шашкой, бледно взблескивал перед глазами своим острием, словно впрямь норовя впиться в мозг.

«Ну, сейчас он мне уши отрежет», – подумал Роман, набрякая свинцовой усталостью мысли, продолжая вертеться в седле, точно выюн, и сверлить землю штопором. Взбросил руку в замах, кинул страшный по виду удар и, до болятки выворачивая кисть, порхнул клинком в огиб – укнул прямо в рот, раздвигая улыбку австрийца до уха.

Ощерив залитые кровью зубы, офицер инстинктивно закрылся, и Роман изворотом, снизу вверх резанул по вздетой руке – плетью пала, роняя палаш. Леденев в тот же миг развалил офицеру лицо. Тот, роня поводья, поймал закипевшую рану ладонью, изогнулся от боли дугою и слег на луку. Безумея от силы своей власти, Леденев рубанул его по голове, что лежала на шее коня, как на плахе.

Австрияки отхлынули, обнажив полосу с две версты в поперечнике, всю, как огромными сурчинами, усеянную трупами людей и лошадей. Поворачивали на закат, забирали на север... Из туч оседающей пыли выскакивали бесноватые от ужаса и боли опростанные лошади, исхлестанные кровью и утыканные обломками пик, ходили кругами, сшибались, роняя с губ шмотья кровавого мыла и, как слепцы, закатывая к небу рубиново-зеркальные глаза.

Дымящейся зыбью поземки текли убегающие, гусары настигали их, секли... Барбович, затиснув поводья в зубах, держал шашку в правой, а с левой стрелял из нагана. Алешка Игнатов с распоротой наискось грудью валился с коня – его ловил и взбагривал Блинков.

Надсаженные скачкой кони сбивались с намета на рысь, покрытые потом и мылом, как жеребята первородной слизи. Эскадроны шли вроссыпь, и гусары поврозь останавливались... И вдруг надо всей этой бешеной сутолочью фонтанными толчками взвился голос полковой трубы, созывая живых под штандарт. «Соберитесь, сомкнитесь, други, всадники ратные...»

Полковник Богородский, кривясь от омерзения, показывал шашкой на северо-запад и озирался так, словно вокруг него никого уже быть не могло. Сквозь изжелта-серое марево на горизонте все резче проступали красно-синие ряды второго эшелона австрияков. Удар прибереженного в резерве свежего полка мог все перевернуть, но тут – вдобавок ко всему невиданному – произошло совсем невероятное: идущие навстречу гусарам австрияки вдруг стали разливаться рукавами и поворачивать назад. То ли это табунное чувство смертельного страха захлестнуло резервы, перекинувшись от отступающих, то ли впрямь что-то грянуло свыше.

Только тут Леденев осознал, что все живое на равнине разливается, дробится и собирается во взводные порядки под каким-то невиданно низким покровом округло вспыхивающих белых облачков и облачка все гуще громоздятся там, вдали, над красно-синими волнами австрияков. Не то из-за увала, не то уже с самого гребня сажали трехдюймовки наших конных батарей, хлеща шрапнельным севом и по чужим, и по своим.

Полковник Богородский накренил шашку влево и вправо, разворачивая эскадроны в разомкнутый строй, и, вытянув клинок вперед, пустил коня машистой метью. Кидая сажени назад, вбирая воспаленными глазами желто-серую, курящуюся даль, Роман различил впереди копошение как будто бы огромных сцепившихся жуков. До них оставалось с версту. И вдруг там вдали гроыхнуло... «Клы-клы-клы-взи-и-и!» – услышал он шелест, и клекот, и вот уже змеиный шип перекаленных на лету картечин. Едва не разом обломились на колени с полдюжины гусарских лошадей, кидая всадников через себя и кувырком раздавливая их. Серебряный красавец Богородского сломался в передних ногах, осадив командира полка до земли.

Начавшая палить картечью батарея австрияков покосила бы многих, но гусарские кони отрывали последнюю полуверсту, и ошалевшая от страха орудийная прислуга уже угоняла с позиций запряжки, рвала под уздцы взноровившихся, встающих на дыбы лошадей, надрывно толкала увязшие в болотистой пойме орудия, наваливаясь на колеса и щитки...

Хватив на себя последний десяток сажений, гусары рубили построшки, вальки, ездовых, располовинивая головы, упряжки – освобожденные коренники и уносные сатанели, рвались куда глаза глядят, волоча за собой номеров и подпрыгивающие передки. Роман в три броска настиг убегающего австрияка в коричневом мундире и бездумным движением развалил его наискось – от плеча до середины груди.

Сам не зная зачем, повернул и подъехал к упавшему. Тяжел и плотен – куль муки. В середине заплавленной кровью груди были видны удары сердца. Буян захрипел, избочился, пугаясь убитого. И вместе с этим инстинктивным отпрядыванием лошади Роману тоже захотелось

отвернуться и отъехать. Упорные толчки ни в чем не повинного сердца, гонящего кровь уже не по жилам, а в убыль, наружу, сознание того, что австрияк не только еще жив, но может чувствовать и видеть, понимать, оттолкнули его. То был не страх – скорее отвращение и стыд. Он понимал, что это сотворено его рукой, и не понимал, откуда в нем это смятение и перед кем вот этот стыд.

Обращенное кверху лицо австрияка казалось стариковским и детским одновременно. Рот под густыми вислыми усами был плаксиво оскален, глаза хотя уже и потускнели, но все же как будто продолжали гадать: есть там, в небе, хоть что-нибудь? Романа изумило выражение невытравимой, непроживаемой обиды: не только чего-нибудь лучшего, чем вся прежняя жизнь австрияка, но вовсе ничего не оказалось. Обида эта относилась и к нему, Леденеву, а к кому же еще?

Что-то в этом лице, а может, просто плотная, тяжелая фигура, разбитые работой широкие ладони напомнили ему отца. Брезгливое недоумение перед собой сгустилось в голове до боли, чулуном потянуло к земле.

Вокруг него крутились и обессиленно сползали с лошадей гусары с замасленно-черными лицами и кипенно белевшими зубами и белками глаз. Стесненные конями, табунились безликие пленные. Острый, сладко-смолистый запах конского пота разливался по полю, мешаясь с душной горечью висящей всюду пыли, забивая тягучий дурманящий дух раздавленной копытами и вянущей травы.

Как-то разом стемнело. Скоротечная рубка разрослась для Романа в неизмеримо длинный промежуток времени, и он почти не усомнился, что в самом деле наступили сумерки. А может, это в голове мутится? Но все вокруг него вдруг как-то попримолкли и подобрались.

Высокое солнце палило безжалостно, и никакие тучи пыли не могли закрыть его, как накрываешь голову тулупом, но подвижная грань, отделяющая на земле свет от тени, с неуловимостью сместилась – непонятно чем брошенная, неестественно плотная тень-темнота затянула все поле, покрывая живых, умирающих, мертвых людей и коней. Запаленные лошади опустили свои горделивые головы – как будто поклонились неведомой стихии. Леденев поднял голову к черному небу и увидел на нем ослепительно-черное солнце. Расплавленной рудой сиял закраек солнечного зрака: так смотрят слепцы, для которых свет небесный погас еще до их рождения, но все равно как будто проникают своим взглядом всего оторопелого тебя. Дыра эта вбирала, вмещала в себя все, что на земле и что над твердью.

– Батюшки святы! Гляди, гляди, ребята! – перехваченным голосом крикнул Блинков, с открытым ртом придерживая на затылке смятый блин фуражки и так откинувшись в седле, как будто небо опускалось на него. – Солнце тьмою закрылось! Да что ж это, братцы? Куда мы пришли? Что за война такая будет, а?!

Гусары глухо зароптали.

– Нешто впрямь конец мира?! – ликующе тьякнул Блинков, обшаривая всех блаженными глазами уже не земного жильца.

– За грехи и убийства, – слышался чей-то хрипатый, придавленный голос, как будто не собственной волей повторявший за кем-то слова.

– Врага в бою убить – святое дело, – прокрипел Хитогуров, молодцеватый старший унтер с лысым черепом и седоватыми усами, презрительно-свирепо обмеривая всех бесстрашными глазами и косясь на Барбовича спрашивающе: «верно я говорю?» – Что война? Сколько их уже было? Попускает Господь. Как в японскую народ переводили, так и нынче придется.

– Дурак ты, Хитогуров, – отрезал говоривший о грехах Иван Трегубов. – Вокруг погляди. Другая война. Небо падает.

Остальные молчали, и первое слово какого-то неведомого языка, казалось, еще только должно было родиться в мире. Иные не таясь крестились, как, впрочем, и при виде всякого

подорожного мертвого. Молитву и крестное знамение вбили в них много раньше, чем умение рубить и стрелять, и солдаты творили и то и другое уже инстинктивно.

Каждый был уже сам по себе, и все были слиты в единую душу, и пустота в единой их душе не поддавалась разумению в такой же мере, как и вот эта черная дыра, где нет ничего из ведомого человеку мира, кроме, может быть, мертвого пекла.

– Тогда Игорь возгре на светлое солнце... – сказал, подъезжая к Барбовичу, подполковник фон Кюгельген. – Гусары-молодцы, благодарю! Отменно мы их трепанули, ребята!..

– А ить и правда, Леденев: убийцы как есть, – шептал взбудораженный Мишка Блинков, выпытываяще заглядывая сбоку в неподвижное лицо Романа. – Видал, как я того драгуна навернул? Уж так мне желательно было кольнуть его – ну хоть ты што тут: я уже не я! Ишо как будто не намерился, а пика уже по середку вбежала... А он-то весь как напружинится, ажник вырос на целую голову – так ему неохота в себя мою пику пускать. Тут-то уж и меня дрожь взяла от него – ить живой человек. Никому умирать, брат, не хочется. А как зараз-то глянул вокруг – так и вовсе мне жутко. Куда ни кинь, везде убитый стынет, навроде как ободранный бычок. От такого и солнце зажмурится. Бог не хочет смотреть... А ты как, Леденев?

V

Январь 1920-го, Северо-Кавказская железная дорога, Александро-Грушевская

«Родной мой, дорогой Женечка! Не смею верить счастью своему, что ты жив, здоров и благоденствуешь! На Николая Чудотворца мне по телеграфу сообщила Лидуся об этом со слов Романовского, которому написал о тебе Св. Варламович, спасибо тысячу раз ему за добрую весть. Ведь ты, сынок, и представить себе не можешь, как мы страдали с папусей от неведения все это время. Последнее, что мы знали о тебе, то, что вы отступали от Новохоперска, и все. Как страшно, что мы растеряли семью. После всего пережитого, после Алеши я не могу прийти в себя. Да хранит тебя Бог, мой дорогой, светлый, любимый и теперь уже единственный. И еще одно, Женечка. Я знаю, что душа твоя безмерно ожесточена, но помни об Алеше не одним этим ожесточением, помни, что ты – брат мученика, который и нас призывал прощать. Враги наши злы и дики, мы это испытали на себе, но ты не поддавайся слепой мести, не подымай руку на лежачего и будь милостив к тем, кого судьба отдаст в твои руки. Вспомни Алешу. Вспомни наше Рождество...»

Укрывшись полстью на тачанке, Аболин задремывал под завывание метели, и тотчас же вставала перед ним рождественская ночь – не нынешняя, а другая, единственная и невозвратимая. Мерцающая снеговая целина полей, двускатных крыш, обыневших деревьев, голубая, сиреневая, золотая под черно-синим ясным небом, в неизмеримой высоте которого, как в алтаре свечные огоньки, загорались, лучились, слезились, соединялись в дивные порядки неисчислимые таинственные звезды и завораживающая ткалась тишина. Ищешь, ищешь на Млечном Пути хоть один мертвый черный лоскут, хоть какой-то колодец, проталинку в Торричеллиеву пустоту – и нигде не находишь безжизненности, всюду звезды текут негасимым мерцающим светом, неисчислимые, соединенные друг с другом, как снежные кристаллы на земле, и черноте не остается места, воистину незыблемая твердь, и весь мир осиян.

Мороз такой, что воздух стынет, прозрачен и тверд, как алмаз, и белые дымы из труб недвижны под-над крышами, как каменные глыбы, и невесомы, как миражи. На стеклах ледяные пальмовые листья, игольчато-граненые леса доисторических хвощей. Отец везет его на ярмарку в санях, укрытого медвежьей полстью, выглядывающего в мир, как из берлоги, а впереди в овчинном полушубке крутая, мощная спина немого кучера Филиппа и воронные крупы пышущих огнем и паром рысаков. Весь мир как будто только сотворен, отлит, спаян, вырезан, соткан из инея, кристального льда и девственно-чистого снега. Даже морды коней и собак в ледяной бахrome. По непрозрачно-меловым поверхностям замороженных окон потусторонне проплывают отсветы зажженных елок и туманные тени водящих хороводы людей – неведомая жизнь, в которой никогда не примешь никакого участия, картины на развешенных перед волшебным фонарем крахмальных простынях.

А вот уже и площадь – в бесконечных рядах расписных, смугло-желтых саней. К Рождеству прибывают, нескончаемо тянутся в город обозы – из неведомых мест, со всех концов дремотной, заваленной снегами, незнаемой России. Вот на версту поленницами – замороженные туши, свиные, говяжьи, бараньи, похожие на глыбы драгоценных минералов, подернутые кровно-розовым ледком; мужики-мясники, краснолицые, дюжие, привлекательно-страшные, рубят их топорами, и брызжет из-под лезвий розовая стружка – побирушкам на счастье: пускай разговееются. А дальше слитки золотые, медные, серебряные, зубчатые по гребню, остромордые – осетры, судаки, сазаны, белорыбица, стерлядь, лещи, сомовина, селедка. Богаты гирла

Дона рыбой, недаром говорят: казан с ухой – где ни черпнешь, везде трепещет, косяками идет в вентера. В ряду калашном пышет сдобой, печным теплом от пирогов, пахнет сахарным пряником, мятным, имбирным, калачами и сайками, маком, анисом...

А вот и срубленные елки – великаны в кочевничьих шапках, тьма тем, орда, завоевавшая великие пространства где-то там, за Волгой, за Уралом, стоят неприступной чащобой и поят воздух терпко-горьким будоражающим запахом хвои, а из-под нижних их ветвей глядят приبلудные собаки – будто волки. И бродишь в этом елочном лесу, полном сказочной жути, – пылают высоко смолистые, из ельника костры, и сбитенщики ходят, навьюченные запеленатыми в рогожу самоварами: «Эй, сбитень сладкий! Калачи горячи!..»

И вот уж выбрана дороднейшая елка, и путь домой по тем же улицам, и звезд все больше в небе – глядишь на них сквозь стылый воздух, как сквозь увеличительное, одними лишь следами замутненное стекло, и фонари плывут сквозь слезы, оставляя на глазах молочно-голубые раны. И вот уж дом, поистине божественное после стужи, неистребимое его утробное тепло, и голландская печь истекает живительным жаром, и пахнет пшеничной кутьей на меду, и подоконники, столы все в голубых атласных бонбоньерках и раскрашенных жестянках – с шоколадом от Эйнема и пастилой от Абрикосова, с парижским пирогом и ромовыми кексами... И вот уже звонят ко всенощной, и все они опять выходят на мороз: отец в стальной шинели с погонами лейб-атаманского полка и мать в павлиньи-радужном платке и речной донской шубе, крытой синим узорчатым шелком, старший брат Алексей и он сам в башлыке и тулупчике. И плывет надо всем снежным миром вселенски весомый, повелительный звон, бесконечный и слитный, как все столетия от Рождества Христова, как благодарственная немота всего крещеного народа на богоспасаемой русской земле. А выше трепещет другой, серебряно-чистый, ручьистый, дробящийся на тысячи тончайших подголосков. Играют тысячи церквей. Все небо поет. И в горле, в груди, в самом сердце ликующе дрожат затронутые струны, и во всем снежном мире – тепло. И двухсаженный исполин Ермак протягивает Грозному царю сибирскую корону, ничтожно маленький пред белой, златоверхой громадой Вознесенского собора, в который воплотилось усилие людей вознестись вслед за Ним от земли хоть на самую малую долю и возжечь в вышине Его крест. Все святое. Все вечное. Рождество Твое, Христе Боже наш, Возсия мирowi Свет Разума...

А вот уж Пасха. Восемнадцатого года. Ледяного похода с Корниловым. Вошли в станцию Незамаевскую. Алешу ищет: здесь тот, здесь – и все молчат как с вырезанными языками, понурые овцы без пастыря, старики, казаки, бабы, дети... Бежит к Ильинскому собору – на каменной паперти кровь, похожая на студень в холоде, на пудинг, затоптанная, разнесенная по плитам рдяно-бурыми отпечатками красноармейских сапог, с объедьями соломы и яблоками конского помета... Под куполом в пыльных столбах лучащегося свыше солнечного света – щепы и обломки расколотых, поверженных киотов, аналоев и голгоф, раздавленные свечи, раскиданные, как обглодки, святые мощи из разграбленных ковчегов. В иконостасе – чернота: содрали все оклады с образов... Кидается назад, под небо – на площади сгуртили стадо пленных... бараны их, без ужаса, без мужества, глаза... хватает одного, трясет другого... молчат как дикари... но как-то разом понимает, куда ему надо идти... и на выгоне видит что-то длинное, серое, окоченевшие босые ноги, по лодыжку торчащие из-под ветхой рогожи. Узнал Алешу по рукам, которые бессчетно жал и целовал. По лицу уже было нельзя – его обезобразили битьем, и глаза были выколоты. Он видел много страшных ран, но подобные были от слепого железа, осколков и ударов наосклизь, когда целью рубившего было сразу убить, а не мучить и не исполнить дикий ритуал, и безобразие и продолжительная пытка были только случайностью, следствием промаха, а не целью, не смыслом, не сознательным делом человеческих рук. А «они», как индейцы у живого врага, сняли скальп, и Евгений уже деревянными пальцами прикоснулся к запекшейся ране последнего пострига, к кроваво-земляному гуменцу до кости, в обрамлении склеенных и засохших волос. Кисти были пробиты штыками, будто

Алешу распинали на земле. Пахло, как из отхожего места, скисшей кровью, мочой – надругались, опомоили тело...

Евгений покосился на молчащего с ним рядом комиссарика, бессонного, упрятавшего нос в шинельный воротник: «А ведь и этот мальчик должен помнить свою рождественскую елку, и чудо-звон, и ряженных волхвов с фольговой звездой на палке... Хорошее лицо, на молодого государя императора несчастного похож, а вот, гляди ж ты, большевик и к Леденеву едет. Ну, он тебя выучит – людей рубить, как мясники свиные туши на морозе. А может, уже и не надо учить? По виду щенков, а уже корпусной комиссар. Уж не в чрезвычайке ли выслужился? Там быстрее и вернее всего – изуверством-то. Там же ведь, в губчека, не пещерные каты аля Гришка Распутин, не одни лишь жида да китайцы, а такие вот русские мальчики. Творцы небывалого мира, жрецы революции. Импонирует жест вседержителя, юноша? А может, ты болен? Отведал человечьей кровушки разок – и приохотился?... Хор-рошее лицо. Потомственный интеллигент, обожествивший русскую литературу. Ненавижу. Папаша – гимназический учитель, земский врач, может и дворянин, как ульяновский-ленинский, напевал над кроваткой: «Белинского и Гоголя с базара понесет...» И невдомек, что Ваньке темному другие стишки по нутру и симфонии. Он из курной избы, из полпивной, в вонючем полушубке, пьяненький, на брюхе – под золотую шапку, в Вознесенский, вестимо, по столетнему инстинкту послушания, из страха всех тварных существ, а там ему как грянут «разумейте, языцы...», что обомрет и вознесется, угнетенный, под самые звезды Господни. Плохо Микитке? По-вашему – да. Не видали такого угла, где бы русский мужик не стонал. Крест на шее и кровь на ногах, в самодельные лапти обутих. Просветить его надо. Он вам говорит: «Выше Бога не будешь, и не счесть, а не то что не постичь всех Господних чудес», а вы ему: «Дурак, смотри в микроскоп: доподлинно ученые установили, что человек произошел от обезьяны... А теперь в телескоп – где же Бог в небесах? Не видно – так и нет Его». Посеяли разумное – взошло. А прежде своих сыновей воспитали – плеяду борцов за народное счастье, о котором народ не просил. И не Пушкина с Гоголем, а Иоганна Моста русским мальчикам подсовывали да катехизис новый, от Нечаева: время действовать, милые, хватит жалеть. И таскал русский мальчик Сережа под гимназической тужуркой прокламации, и сердце от восторга трепетало – бросил вызов громаде, Зверю, Левиафану. А нынче, вишь, вождь краснокожих. Со священников скальпы снимает, о чем в детстве читал у Майн Рида и Купера... Впрочем, он совсем юн и так жадно тянется к рассказам о крови, что будто и не видел, не привык. Но не так-то и прост – не слишком откровенный тон вы взяли с ним, товарищ Аболин? Так и с Ромкой не свидишься...»

В обозе оживление: завидели жилье. Полуослепшие в метели, запруживали лавы леденцев саманную, соломенную слободу, спирались в проулках и на перекрестках, бодали и сворачивали огородные плетни, ломались на базы, в сараи, в хаты, норовя поскорее забиться в тепло и едва не дерясь взвод со взводом за место под крышей.

Евгений с комиссаром стыли на ветру – глухая масса эскадрона, спершись стенкой, не пускала их бричку ни во двор, ни вперед, а кричать о своем комиссарстве мальчонке, видно, не хотелось. В толчее и подслепье отбились от штаба и теперь уж хотели того же, что и все рядовые, – тепла... Наконец и они протащились на двор.

– А ну-ка, братцы, потеснись! Прояви, босота, солидарность! Одной семьей живем, в одну и хату селимся – даешь интернационал! – прикрикнул Евгений, заработав локтями и пробивая путь сквозь давку.

– Куды прешь, фронтовик?! – отвечали ему, упираясь и пихаясь в ответную. – Ты кто таков будешь?

– Из тех же ворот, что и весь народ.

– А по виду, кажись, офицерик. Не видали мы раньше тебя, а, босяк?

– Да кто бы ни был – обогреться дайте, а потом хоть зубами грызите. – Евгений пробился в самый угол хатенки и сел на полу, расчистив комиссару место рядом.

Набились рог к рогу, до смрада: удушливо звоняло скученными здоровыми телами, сырыми шинелями, сукнами, блевотным душком промокших сапог, обмерзлым железом винтовок – всем-всем настырно-ядовитым и даже выгребным, чем пахнут бездомовные, прошедшие уж сотни верст солдаты.

Вокруг Евгения с мальчишкой ерзали босые ноги с ногтистыми черными пальцами и жесткими, как лошадиные копыта, пятками; бойцы, сдирая, сматывали с них портянки, какие-то тряпки и пестрые бабьи шалевки, снимали шинели, гимнастерки, венгерки, выпаривали на огне и били вшей, вытаскивали из мешков и переметных сум исподние рубашки, завернутые в чистые тряпицы житные краюхи, сухари, шматки заржавевшего от старости сала – и все живее, громче гомонили.

– Налетай, ребята! Чем бог послал... разговеемся.

– Бурсаков напекем. Мучицу-то выдали... А то где еще печь припадет?..

– Иде ж каптер-то наш заночевал?

– Сиротская его доля – щи из бычачьих почек лопают!..

– Ничего, браточки, – вон он, Новый Черкасск. Заберем – ох уж и погуляем. За весь срок отъедемся.

– И отлюбим, ага...

– Уж там-то есть кого пощупать. Со всей России набегли. Все, какие при старом режиме богатства имели, увезли ишо загодя и туды сволокли. Буржуйского имения на весь бедняцкий класс с краями хватит.

– Да брали мы энтот Черкасск ишо в восемнадцатом годе – уже тогда-то все и вымели.

– Они, буржуи, тоже, кубыть, не пальцем деланные. На кой ляд им тебя дожидаться?..

– В подвалах каменных кубышки золота зарытые! Купецство проживало – надо понимать. Спытать только надо, где спрятано. Бери его за бороду и тряси. Сгрузимся добром!..

Сергей с острейшим любопытством вслушивался в речи этих полуголых, едящих и гогочущих людей. Неужели вот эти – те самые, о человечески необъяснимой храбрости которых писали «Правда» и «Известия»? О походах сквозь ветры, о победах над холодом, голодом? И они-то, железные, – о жратве, о поживе, о возможности вдоволь пограбить? Это красная конница? Или дикие орды, идущие за золотом и мясом? А может, так и надо и только так и можно – разрушить мир неправды и начать другую, прекрасную Историю, а сперва погулять, воздать себе за все века нужды, приниженности, безъязычия? Да, с жадностью к тому материальному, чего так долго были лишены, да, с ненавистью к тем изысканным вещам, которых касались пресыщенные, изнеженно-слабые руки господ, а ты и назначения их не знаешь – и потому расколотить, изгадить, подтереться... Но все-таки не утерпел:

– И часто вы так, дорогие бойцы, грабежом промышляете?

– А это кто там? – изгально-ласково осведомился дюжий конник с голым торсом и заросшим щетиной энергичным лицом, остановив на нем беззлобно-любопытствующий взгляд. – Откель, куга зеленая, ты взялся?

– Комиссар я ваш новый, – ответил Сергей по возможности просто. – Вот, зашел познакомиться.

– А-а, политком, – протянул боец устало-равнодушно.

– Не политком, а корпусной военный комиссар, – нажал Сергей. – Так что давай, боец, поговорим о вашей жизни – поскольку это, брат, огромное значение имеет: доклад мне о вас посылать товарищу Ленину – рассчитывать ему на вас как на верных бойцов революции или считать за ненадежный элемент.

Бойцы не то чтоб потрясенно онемели, но все же разом подались, потянулись к Сергею, примолкнув. Он знал, как имя Ленина воздействует на массу: люди самые разные, тем более простые, темные, не то чтоб обмирали от трепетного страха и благоговения, но именно что

ощущали свое высокое значение, словно над каждым кто-то говорил: ты нужен нам; нам нужно знать, как ты живешь и какой жизни хочешь.

– А нешто он не знает, какие мы бойцы? – взгомонили все разом. – Ить сам об нас в газете прописал: привет герою Леденеву и его кавалерии.

– Покрытые славой геройских делов – вот какие мы, товарищ, элементы! Весь фронт вытягаем в боях с белой гидрой.

– Ну вот и спрашиваю, – сказал Сергей окрепшим голосом. – Известно – бьете контру, а за что? Новочеркасск штурмуете – зачем? Чтоб буржуев пограбить? – И покосился на бесстрастного, непроницаемо молчащего Аболина, словно надеясь доказать тому, что дух, устремления этих людей высоки, что не умом, а сердцем они видят идеал...

– Да как же за что? За нужду, за всю жизнь нашу горькую. За то, чтобы всем, какие ни есть на земле, беднякам жилось хорошо.

«Ага!» – возликовал Сергей.

– А что касаемо грабировки, товарищ, – продолжил дюжий, с волчьими глазами взводный, – то какой же тут грех? Нешто мы у своего брата-бедняка последнее отымаем? У буржуев берем, от чужого труда нажитое. Имеем мы такое право – забрать себе чего из ихнего имущества?

– А Леднев – он как считает? – подцепил Северин.

– Так сам нам, любушка, сказал: «Возьмете город – ваш на двое суток». Да рази мы можем чего-нибудь поперек ему сделать?

«Ну вот и собрал показания», – подумал Сергей почему-то с обидой: да, прав был Студзинский – еще в глаза не видел Леднева, а образ, который себе сотворил по телеграммам и газетам, уже распадается.

– Вот вы, товарищ комиссар, видать, ученый человек – скажите: что же, мы неверно понимаем? Буржуя увидел – и трогать его не моги? А за что ж мы кровь проливаем?

– Ну, послушать тебя – так за то, чтоб карманы набить, – зло ответил Сергей. – Кубышку с золотом найти и хату новую построить, коней купить, быков. Добудешь – и сам богачом заживешь, своих же братьев-бедняков начнешь нанимать за гроши, чтоб на тебя горбатились, как ты на кулака.

– Да нешто я так рассуждаю?

– А как? По всей России города стоят без хлеба, жрать нечего, дети от голода мрут, а ты – «себе», «имею право» да еще именем народа прикрываешься.

– А иде же он, хлеб? – угрюмо, даже будто с затаенной злобой спросил из угла рыжеватый, немолодой уже боец, не подымая на Сергея воспаленных глаз. – Какой ревкомы загребли по нашим хуторам, а то будто наши детишки облопались – пихают в себя, и все-то им мало? Куды его дели? Кто съел? Да ишо подавай? Никак там у вас, в городах, такие товарищи думают, что хлебушек сам себя растит, как сорная трава, – при земле человека и вовсе не надо, али мы, хлеборобы, без едового можем прожить. Да ишо вон какой порядок завели: коли хлеб не желаешь сдавать али вякнешь чего, так зараз к стенке прислонят, как контру революции.

– Да, хлеб сам не растет. – Сергей почувствовал, что должен возразить, что тут нужны какие-то особенные и, главное, внятные этим людям слова, и тотчас понял, что не может их найти. – Ну некому землю пахать... Вы все, хлеборобы, на фронт ушли... сами... с белой сволочью биться. Вот и надо сперва сбросить в море Деникина, а потом уж вернуться к труду, сеять хлеб. А пока... Хлеб у ваших семей забирают? Значит, где-то есть труженики, семьи их, дети малые, которым еще голоднее, чем вам. Им и надо помочь. Борьба идет такая, что никому из нас жалеть себя нельзя...

В сенях зашумели, затопали, и в переполненную горницу ввалился молодцеватый вестовой в обындевелом полушубке и папахе набекрень.

– Комиссар новый тута? Северин, Северин?... Приказано препроводить вас в штаб, товарищ комиссар, – сказал он Сергею, держась с той горделивой холодностью и даже надменностью, какая свойственна штабным и ординарцам при высшем командовании.

– Кто приказал?

– Челищев, начштакор.

– А сам товарищ Леденев где? В штабе?

– Да кто ж его знает? Летает, – ответил вестовой обыденно-значительно, как будто речь и вправду шла о некоем колдуне, носящемся над беспредельными пространствами и заклинающем стихию. – А энтот с вами кто? – кивнул на бесстрастного Аболина.

– Товарищ с Лихой, большевик. От белых бежал. – Сергей вдруг изумился, с какой привычностью, отсутствием сомнений повторяет вот эти слова.

И тотчас вспомнился их разговор с Аболиным – о «хамской» ненависти мужиков к интеллигентам и Леденева к господам – и как в этих больших изнуренных глазах вдруг будто бы и вправду показалась истинная суть.

– Насчет товарища распоряжений не было.

– Ну так я вам приказываю, – нажал Северин.

Сырой, студеный воздух неприятно ссудорожил потное, в духоте разомлевшее тело, наструнил, протрезвил. Метель уж почти улеглась под свинцово темнеющим небом, далеко было видно заметенные снегом дома, огни костров, подсвеченную ими улицу, копошение серых фигур во дворах, и дальше он пошел, весь подобравшись, стараясь ничем не выдать своей – такой смешной – настороженности и внутренне прислушиваясь к идущему с ним наравне Аболину.

Когда сказал Володьке с Петькой про Агорского, те тоже смеялись. А через месяц целились, казнили... Знаком с Ледневым? О танках поведал? Ничего ж не добавил к тому, что штабу корпуса и так уже известно. Ловко! Там, впереди, мол, силища несметная, стена. Да об этой стене все донские газеты кричат... Не скрыл, что бывший офицер, хоть, по его словам, не кадровый, – признался Сергею в том, чего утаить невозможно, в происхождении, в лице, в манерах, и даже с вызовом, со снисходительной усмешкой: подозревайте, разрешаю, вот я весь, какой есть. И документы в голенище – вот только чьи? с кого на нем сапожки?.. Ну а за что его цеплять и на каких противоречиях ловить, когда в нем ровно то же подозрительное, что, предположим, и в тебе самом, и даже легче допустить, что он подпольщик, чем что ты корпусной комиссар?.. Ни в штабе корпуса, ни в штарме о нем не знают ничего... или, может, лишь имя – Антон Аболин, с Ростовом же связаться невозможно. Очной ставки ни с кем не устроишь. Разве что с Ледневым самим.

А может, бредите, товарищ Северин? Простудились в дороге? Цель у него какая может быть? Прознать расположение, маршруты, передвижения колонн, их связи по фронту? Да если бы он пробирался в Калач, в тылы наши, в штарм, но ведь, напротив, лезет в пекло, к Ледневу. «Убить», – скользнула ящерицей мысль и не оставила холодного следа – потому что он сам не поверил себе. Полу-не-допустил.

– Тулупчик бы вам, – сказал Сергей Аболину как мог участливо.

– В Новочеркасске все оденем. Если, конечно, вы не будете карать за всякий случай мародерства.

– Вам ужасно пойдет офицерская шинель, – сказал Северин и тотчас остро пожалел о грубости своей провокации. – За офицера станут принимать.

– Меня и без шинели, знаете... Зато там, среди ростовской изысканной публики, мог запросто сойти за своего.

Нет, этот человек не дрогнет. А если криком, револьвером, «руки, гад!» – неужель не проявит себя? А если он и вправду Аболин, подпольщик, большевик? Посмотрит на тебя своим усталым взглядом – и тебе станет стыдно.

Идти пришлось долго – похоже, к железной дороге. Полештаб расположился в доме начальника станции. У крыльца встали двое бойцов – потребовали сдать оружие. Аболин развел руки, позволяя прохлопать себя по бокам. Покорен, как утопленник.

Сергей сторожил каждый взгляд, движение Аболина и в то же время озирался среди новых лиц, оглядывал штабную обстановку с волнением прикосновения к легенде.

Бывал он во многих штабах – дивизионных и армейских, даже фронтовых. Там, наверху, хотя порой и под землей, в подвалах, владели, ведали, повелевали тысячами жизней командармы и комкоры – мучительно ссутуленные, как бы замерзающие необъяснимо-исключительные люди. Там, в белом калении электрических светов, в полуночном горении керосиновых ламп, десятки аппаратов и людей работали, как бешено неутомимая машина, как паровой двигатель, как исполинские часы, в которых одна только стрелка – секундная. Республика, Центральный Комитет кричали в полевые телефоны, и отвечали им, вытягиваясь в струнку или горбясь, сгибаясь под тяжестью смертной ответственности, бессонные угрюмые штабисты с сухими лицами, отточенными, как карандаши, кричали убивающе в войска, в ночное беспроглядь, в снежные бураны.

На хирургических столах пестрели карты, похожие на красно-голубые цветники, на распятые кожи животных с узловатыми венами рек и морщинами прихотливых ландшафтов – как шмели над цветами, как врачи над больными, копошились над ними начштабы и начопероды; держа карандаши, как скальпели, бездрожно препарировали, прихватывали скобками порезы, вычерчивали стрелы рассекающих и дуги концентрических ударов, внедряясь в мысли, прямо в мозг потустороннего врага.

А тут машины не было: ни стука телеграфных аппаратов, ни копошения бессонных, ни огромных карт – Сергей как будто снова угодил в ту же самую хату, разве что не забитую красноармейским народом, не такую угарную.

Штабные – праздновали. Рождество. Не пьянствовали, нет, а будто благочинное семейство. Среди комнаты стояла елка, обряженная в телеграфные ленты, как в некий диковинный кружевной серпантин, обсаженная звездами, нарезанными из фольги и консервных жестянок. Под ней возились двое ребятишек лет пяти-шести – насупленный мальчонка в розовой сатиновой рубашке и девочка в синенькой ситцевой кофте и юбке до пят, с пытливыми, лукавыми глазами, блестящими, как мокрый черный виноград.

Пять человек штабных сидели за столом у самовара, в котором отражалась керосиновая лампа; бесстыдно высилась на самом видном месте четверть дымчатого самогона, румянили куски зажаренной курятины, лоснились блины, блестели моченые яблоки – не хамская роскошь за спинами изголодавшихся бойцов, но если бы Сергей увидел пьяных, разгуливавшихся, то удивился бы, пожалуй, меньше, чем этой праздничной, домашней безмятежности, в которой было что-то безумно неуместное. Всего в двадцати верстах к югу лежал Персияновский вал, в молчании настуженных степей, во вьюжном мраке ночи, как орды снежных призраков, могли идти казачьи конные полки, сливаться, разливаться, течь в обход, а в эту комнату сейчас, казалось, и волхвы войдут, колядники ворвутся, ряженные, в остроконечных колпаках и с птичьими носами.

– Значит, празднуете, – сказал он, поздоровавшись, и голос его прозвучал неприязненно и даже будто обвинительно.

– Без праздников, товарищ Северин, и одичать недолго, – поднялся навстречу ему высокий худощавый офицер – иначе и нельзя было назвать вот этого затянутого в китель довольно молодого человека с удлиненным и тонким лицом. Нерушимый пробор, нос с горбинкой, в близко посаженных глазах – сухая птичья зоркость. – Начальник штаба корпуса, Андрей Максимович Челищев. Садитесь, товарищи. Милости просим. В германскую войну на Рождество мы договаривались с немцами о перемирии.

– И подарки друг другу дарили, – сказал Аболин с неприязненной, будто даже гадливой усмешкой, непонятно к чему относящейся – то ли к былым рождественским братаниям меж русскими и немцами, то ли к тому, что красный командир сегодня допускает возможность перемирий, «как тогда».

– Вы, может, и с белыми договорились? – добавил Сергей и тотчас пожалел о собственной мальчишеской запальчивости, об учительском и распекающем тоне, который он взял.

– В последнюю неделю, Сергей Серафимович, – отчеканил Челищев, – и мы, и наш противник, по крайней мере конница его, настолько истощились, что перейти к активным действиям физически не можем. До утра – так уж точно. Несмотря на смертельную между нами вражду. К тому же в нынешний момент мы в сильной степени зависим от погоды. Как видите, буран, и снег лег глубокий, по балкам и вовсе по поясу, то есть по конскую грудь.

«Я что, ему курсант? – подумал с раздражением Сергей, но тотчас признал: – Ну а кто же?»

– Так что ж, пока не кончатся бураны, так и будем стоять? Чтоб белые еще лучше на валу укрепились?

– Отчего же? Они-то – да, а мы – наоборот.

– В метель наступать? – спросил Сергей, догадываясь о логике ответа, но все же с любопытством человека, ни разу не видавшего, как войска наступают в метель.

– Метель – завеса обоюдная. При хорошем знании местности вы получаете определенное преимущество маневра.

– Но белые ведь тоже местность знают, и даже, может, лучше...

И тут в сених затопали, и в комнату с грохотом, уханьем, сорочьим чечеканьем, визгучим верещанием рожков и вправду ввалились безумные ряженые, шаманы, скоморохи в размалеванных личинах, в мохнатых шапках с вербовыми ветками, цветными лентами, козлиными рогами, в овчинах и вывернутых наизнанку тулупах, изображавшие медведей, Иродовых слуг, и закружился вокруг елки дикий хоровод...

– Коляда, коляда, подавай пирога...

– Мы ходили по всем по дворам, по всем дворам да проулочкам...

– Не служи королю, служи белому царю...

– Торжествуйте, веселитесь, люди добрые... облекуйтесь в ризы радости святой... – перекрыл верещание делано зычный, густой чей-то голос, и Северин увидел жоака всей этой безумной оравы – рождественского деда с мешком и длинным посохом, увенчанным латунной Вифлеемской звездой. Почти до пят спадала крытая голубоватым шелком шуба, по брови был надвинут лисий малахай... – Он родился в тесных яслях, как бедняк. Для чего же он родился, отчего же бедно так? Для того, чтоб мир избавить от дьявольских сетей, возвеличить и прославить вас любовью своей... Здорово вечеряли, дорогие хозяева. Тута, что ли, живут Ванятка Пантелеев и сестра его Полюшка?.. А иде ж они?.. А ну-ка, подите ко мне, орехи лесные. Да не робейте, милые мои...

Штабные стали вперебой подсказывать обоим ребятишкам подойти, и лица их, глаза преобразились, выражая едва ли не больший восторг и ребячьи-наивную веру в волшебную природу этого вот ряженого, чем глазенки обоих детей, несмело, бочком, кусая кулачки, подступавших к «деду».

«И вправду осумасшедшие», – подумал Сергей.

Лицо Аболина и то переменилось – отчего? – большие, отрешенные глаза гадательно впились в полоску между ватной бородой и малахаем, и весь он стал похож на цепную собаку, готовую не то рвануться к своему хозяину, не то кинуться на чужака.

– А ты не колдун, – ответил мальчонка, смотря на ряженого исподлобья.

– Вот так голос! А кто же я? – с дурным упорством пробасил «старик».

– Ты Леденев, – ответил сумрачный Ванятка снисходительно: нашел, мол, дурака, – и Сергей дрогнул сердцем.

– Это как же ты меня угадал?

– А то поутру тебя не видал. Глаза у тебя не смеются, когда ты смеешься. И сапоги под шубой, как у казака.

– Ух и глазастый же ты, брат! А энто вот кто? – ткнул старик-Леденев набалдашником в Аболина, как будто вставляя в него туго сжатую, дрожащую в предельном напряжении пружину.

– Не нашенский, и с вами его не было.

– Ага! Мимо тебя, брат, не проскочишь, – сказал старик с каким-то уж чрезмерным торжеством, смотря на одного Аболина и, кажется, глазами говоря тому известную лишь им двоим всю правду.

Пружина вылетела вон – рука всполохом захватила вилку со стола! – и, будто повинувшись ребячьему соблазну, Сергей успел воткнуть взлетевшему подножку... Аболин всею силой рывка обломился, разбивая запястья, колени, и немедля толкнулся, завыв, – на него навалились, надавили коленом на выгнутый что есть мочи хребет, рванули за волосы кверху, показывая колдуну-шуту-комкору аболинское лицо, по-собачьи влюбленно, вопросительно взглядывая: отвернуть?

– Беги, Ванятка, в сени и солдат позови. И ты, Полюшка, к мамке ступай, – велел Леденев, скинув шапку и стягивая бороду, и Сергей наконец-то увидел лицо, то самое, которое разглядывал на фотографиях, – и вместе с тем, казалось, совершенно незнакомого, не того человека, живого, осязаемого, потому и другого.

– Взять, – сказал Леденев. – Не бить, не разговаривать, никого не пускать, – и слова его будто бы перетекли, воплотились в движения двух часовых, тотчас поднявших Аболина.

Лицо того с расширенными, побелевшими глазами, вбирающими Леденева, сломалось в каком-то неверящем недоумении и даже будто бы раскаянии – на миг показалось, что он вот-вот стечет перед комкором на колени, словно только теперь осознав, на кого покушался.

– Ты!.. ты!.. – хрипнул он, и к горлу подтекли какие-то слова, но один из бойцов завернул ему руку до хруста, заставив охнуть, онеметь от боли, и вот уж вытолкали, выволокли в сени.

Комкор, бритоголовый, в бабьей шубе, напоминающей боярскую с картин Васнецова, прошел к столу и сел напротив онемевшего Северина, и все вокруг них перестали быть – в глаза Сергею, любопытствующий, не потерявший, что ли, той лукавинки, с какой глядел на ребяташек, но все равно ударил леденевский взгляд.

Глаза эти, казалось, увеличивали все, на что смотрели, будто сильные линзы, собирали в фокальную точку весь свет, в самом деле все зная, все видя. Не в одном только этом пространстве, но еще и во времени – все, во что он, Сергей, заключен и к чему прикреплен, где родился, как рос, кем воспитан, почему стал таким, каков есть, и каким еще станет, к нему, Леденеву, попав.

– А ловко вы его, – сказал Леденев, смотря уже как будто сквозь Сергея, и подавился застарелым кашлем. – Выручили положение, а то и до горла дорвался бы.

– Роман Семеныч, любушка! Прости ты меня! – убито-покаянно начал Носов, штабной комендант. – Да я из него, гада, все кишки повымотаю, – когтями вцепился Сергею в плечо. – Живьем буду грызть!

– Помолчи, – попросил Леденев, прокашлявшись.

– Вы, что ж, его правда узнали? – набросился Сергей.

– Узнал. Товарищ мой старый. Еще по германской.

– А я чувствовал! Знал! Офицер!.. От белых отбился и к нам – подпольщик, большевик!.. С кем очную ставку?! Вот – с вами, выходит! Не раньше! Кретин! Наган ему в бок надо было – и до выяснения!

– Звать-то вас как? – Подчеркнутое обращение на «вы» в соединении с забывчивым, не застревающим в Сергее взглядом не то чтобы обидело Северина, а именно внушило стыд и отвращение к себе.

Никогда еще он не чувствовал себя таким никчемным, лишенным веса, плоти даже, а не то что голоса, – под давлением этого леденевского непризнания его, Сергея, значащим и стоящим хоть что-нибудь.

– Откуда ж вы прибыли? – спросил однако Леденев.

– Из Калача через Саратов.

– Каких мест рожак?

– Тамбовский. Учился в Москве.

– Бывал я в Москве, давно, при царе. Как зазвонят все сорок сороков – так и мороз по коже, душа из тела просится, как стрепет из силков, будто и вправду сам Господь к себе ее покликал. Иль будто ангелы на землю снизошли. А нынче разве снизойдут? А главное, нам и без них хорошо. На крови и возносимся – в вечную жизнь. Новый мир только в муках рождается, так, комиссар? – Леденев говорил, как больной под гипнозом.

«Бог, ангелы... Христа вон славят, как юродивый», – подумал Сергей взбаламученно.

– Допросить его надо, – сказал он, кивая на дверь.

– А чего вы хотите от него услышать? За что он нас бьет – и так вроде понятно. Кем послан – так об этом и в газете можно прочитать, в «Донской» их «волне». И вольно ж ему было явиться сегодня – весь праздник испортил. Детишек вон перепугал.

– Так Рождество еще как будто не сегодня, – сказал Северин, невольно проникаясь творящимся вокруг него абсурдом.

– А вы до завтра чаете дожить? – спросил Леденев. – Так завтра – это о-о-о... Кому еще выпадет Рождество-то встречать?.. Пойдем, Челищев, – приказ писать будем на завтра.

– Теперь и с комиссаром, – напомнил начштакор, кивая на Сергея.

– Само собой, – поднялся Леденев.

Сергей и не заметил, как оказался за другим столом, на котором была уж разложена карта-трехверстка, и будто ниоткуда появился, должно быть вылез из звериной шкуры, новый человек – опять щеголеватый офицер, высокий, хромоногий, Мефистофель, с холеной конусной бородкой и заостренными усами, с невозмутимым, жестким взглядом темных глаз, в которых чудился неразстворимый осадок превосходства надо всеми. Мерфельд, начоперод.

Леденев наконец сбросил шубу, и ордена Красного Знамени на черной гимнастерке его не было, как и знаков различия. Сел у окна на табурет и, не взглянув на карту, врезал взгляд в неизвестное время, в ночную снеговую пустыню, где как будто и вправду ничто не могло ни возникнуть, ни сдвинуться с места без его разрешения, и даже налетавший неизвестно из каких пределов ветер лютовал на бескрайнем просторе не сам по себе – нес его, леденевскую, волю, слова:

– Противник перед фронтом корпуса пассивен и наблюдает за передвижениями наших войск по линии Персияновка – Грушевский. На правом фланге корпус действует совместно с кавбригадой Блинова. Тылами опирается на двадцать первую и двадцать третью стрелковые дивизии и третью бригаду Фабрициуса. Комбригу-один, произведя необходимые приготовления до двух часов утра, скрытным маршем обойти высоту «четыреста три» указанным разведкою маршрутом. Забрать Жирово-Янов, выдвинуть разъезды к Норкинской и, оседлав железную дорогу, рвать пути на Новочеркасск...

То была речь машины – в ней не было не то что интонаций, но даже ни единого живого слова, одни только термины, названия бригад и голые глаголы. Ни происхождения, ни места рождения она не выдавала, разве только привычку и даже предназначенность повелевать, разве только военное образование, хотя ни императорской военной академии, ни даже офицерского училища Леденев не кончал.

– Комбригу-два к семи часам утра вести бригаду к высоте и развернуть к атаке в линию, не доходя трех верст.

– Но Горская с марша – отдохнуть не успела, – сказал Челищев, обрывая бег карандаша и вскинув на комкора острые глаза. – А мы ее вперед пихаем. На пушки, без достаточной поддержки артиллерией.

– Потому и пихаем, – ответил Леденев, – что у нее пугаться чего-либо теперь уже сил не найдется. Она ведь, усталость, всякое другое чувство давит. Сытый и отдохнувший красоваться идет, а заморенный – умирать. Такой зря и пальцем не ворохнется.

Сергея поразила эта мысль – его, человека, не раз писавшего в газеты: «победа или смерть», «кто себя пожалел, предал дело борьбы за всемирное счастье трудящихся», «переносить во имя революции не только голод и усталость, но даже огонь». Не то чтоб он не представлял, что такое усталость в походах, но все-таки почувствовал себя едва ли не ребенком, который каждый день ест мясо, но ничего не знает о людской работе на быка или свинью.

Леденев говорил не о жертве и не о самоотвержении, а о слабости человека, от которого бесполезно требовать чего-либо сверх человеческих сил, но можно поставить в такие условия, когда ему придется стать героем. Да и не героем (потому что герой, представлялось Сергею, – это собственный выбор), а машиной, которая не ошибается.

– Так, стало быть, блиновцы изобразят наш правый фланг, – поднял голову Мерфельд. – Сидорин будет лицезреть их со всех своих аэропланов у Горской на уступе, в то время как Гамза уже заполз ему за шиворот. Красиво. Но что это нам даст, помимо суматохи в их тылу на левом фланге? С валов-то их такую горсткой не собьешь. С чего же ты взял, что Сидорин на этот твой вентер с подводкой всю конницу выпустит? Куда как выгодней держать ее за валом, предоставив нам лезть в эту гору, как грешникам к небу, а верней, нашей пешке, которой еще больше суток тянуться. А конницей своей обхватывать нас с флангов, когда наша пешка в эту гору полезет? Для хорошего концентрического удара сил у нас слишком мало – какой там прорыв? А ты толкаешь Горскую под пушки, да и Донскую и Блиновскую туда же – ведь втопчет в землю «Илья Муромец». На ровном месте – как на стрельбище. Артиллерийскую дуэль-то проиграем, даже не начав.

– Артиллерийская дуэль, – повторил Леденев с удовольствием. – Запомнить бы надо – вверну на совещании в штабе армии. Буран завтра будет, – сказал он так, как будто сам уже и вызвал из каких-то незримых пространств тот буран. – На небо погляди – ни звездочки. С Азова нажмет.

– Ну подведешь ты к валу корпус по бурану, а он-то из вала разве выйдет? Что ж, он куриной слепотой мозга заболит к завтрашнему дню? Уроки-то прежние помнит, наверное. Потопчемся под валом, как бездомные собаки перед тыном, и назад, поджав хвост, побежим? Или подыдемся, подобно облакам, и кони наши, как орлы, взлетят?

– Сказал слепой: «посмотрим», – ответил Леденев. – А ну как вся Донская армия назавтра к тем высотам стянется. Это дело живое – в приказе не опишешь... Ну, все на этом? Тогда пойдемте, ваше благородия, на Партизанскую посмотрим.

– Благородиями бывают прапорщики, – ответил Мерфельд, поднимаясь. – А я, уж коль на то пошло, высокоблагородие.

– А ты знаешь, отчего я в красные пошел? – сказал Леденев. – Чтоб это «вашевысоко...» не выговаривать, язык не ломать.

– Других соображений не было? – насмешливо осведомился Мерфельд.

– А это чем плохо? Кто меньше гордость твою гнет, тот тебе и родной.

Сергей насторожился, с жадностью вбирая разговор, но все уж поднялись, накидывая полушубки и шинели, и, спешно подписав свой первый боевой приказ по корпусу, он вышел вслед за всеми на крыльцо и тотчас осознал, насколько опоздал с никчемной подписью, поскольку в слепом, завьюженном мире все вправду ожило и двинулось по первому же леденев-

скому слову. Перед взглядом его потекли сотни призрачных всадников, из невидья и в невидье, в метель, и впрямь уже казалось – только тени, ибо двигались все в совершенном, каком-то неестественном беззвучии, не кони, а гротескные мифические чудища, уродливые межеумки былинных великанов и готических химер – с непомерно огромными, словно раздувшимися от водянки головами и ногами как будто в инвалидных лубках. Он, Северин, не сразу понял, что к мордам коней приторочены торбы с овсом, а копыта обуты в рогожу – чтоб ни всхрапа, ни звяка подков о придонные камни и наледи.

И проводив глазами этих, как будто созданных одним его воображением всадников, по три в ряд исчезающих в пепельной мгле, Леденев, не сказав ни единого слова, толкнулся под крышу, и Сергей как привязанный двинулся следом. Все оставили их с Леденевым вдвоем.

– И все же надо допросить его, – сказал Северин, чтоб хоть что-то сказать, а может, просто понимая, что Аболин – это единственное, что пока еще связывает его с Ледневым.

– По дороге не наговорились? – спросил Леденев и вдруг резко выдохнул, как будто прочищая грудь и горло.

– Как же имя его? Настоящее?

– Извеков. Евгений Николаевич. Здешних мест рожак, новочеркасский. В семнадцатом году подъесаулом был, теперь в каком чине, не знаю.

– Так вот и надо допросить. Вдруг тут у нас их люди – надо понимать.

– Вот репей, прицепился. Вот я у нас и есть его человек. На жертву он пошел. У них, как говорится, у корниловцев, мертвых голов: когда идешь в бой, считай себя уже убитым за Россию. Мне нынче, как видите, малость не до того.

– Но есть начальник оперчасти.

– Ну вот он и займется, – ответил Леденев, как о чистке конюшни.

– Вы что же, вместе с ним служили? Ну, в германскую?

– В плену у австрийков познакомились. – Твердо спаянный рот Леденева шевельнулся в едва уловимой улыбке. – Ну а вы где воевали?

– На Украине, с гайдамаками. – Сергей чувствовал, как голос у него по-петушиному срыгается, и с возрастающим ожесточением продолжил: – Давайте уж начистоту. Сосунка к вам прислали? Да только это, извините, не вам уже решать. Прислали – стало быть, сочли необходимым. Именно меня! Так что придется уживаться. И в штабе я отсиживаться не намерен.

– Ты с бабой спал? – посмотрел на него Леденев будто с жалостью. – Есть у тебя присуха, ну невеста или, может, жена? А что ты так смотришь, будто тавро на мне поставить хочешь? Это, брат, не шутейное дело, а самая что ни на есть середка жизни, то же, как и людей убивать. О Рождестве ты спрашивал – почему я его на сегодняшний день передвинул? Всем срок невеликий дается на этой земле, а нынче и его лишиться можно. Вот если ты, допустим, ни одну не облюбил, тем более обидно умирать. Так что, может быть, и погодил бы – себя-то пытаться? Вот заберем Новочеркасск, а там, поди, и девочки из офицерских бардаков – тогда и войю.

– Я чужие объедки не жру, – отрезал Сергей, как ему показалось и хотелось ответить, с холодным достоинством.

– А где ж я тебе нынче честных баб возьму или девок непорченных? Голодает народ, хлеб не сеет никто. У меня тоже бабы есть, милосердные сестры. Все бляди. Товарищи бойцам, потому и дают. Обслуживают всем чем могут. Да и бабье нутро нипочем не уймешь – наоборот, еще жадней становятся.

– В настоящее время о половом вопросе думать считаю для себя смешным, – отчеканил Сергей, испытывая раздраженное недоумение, как может столь ничтожное животное занимать Леденева, и вместе с тем почуяв сладостно-мучительную, идущую откуда-то из-под земли голодную тоску – двойной раздирающий стыд: за то, что это темное, звериное неподдаваемо им владеет, и за свою мужскую нищету, за то, что близость с женщиной – простейшая из милостей природы – ему до сих пор не дана, и что Леденев это видит.

– Понятно. Железный боец. Да только революция нам будто этого не запрещает. Или может, ты квелый, ну, хворый какой?

– Я сейчас нахожусь в непосредственной близости от позиций противника и ни о чем другом не думаю.

– Ну и где же ты предполагаешь завтра пребывать?

– Где вы посчитаете нужным, – влепил Северин. – Но прошу испытать меня в деле. Я командовал взводом и ротой.

– На коне ездить можешь?

– Могу, – чуть не выкрикнул он.

– Ну, побудешь при мне. Дадим тебе коня. И шашку выбирай, – повел глазами Леденев на целую гроздь клювастых клинков, подвешенных на крюк.

Сергей как можно медленнее и безразличнее поднялся, степенно подошел к многосуставчатому железному ежу, повглядывался в медные головки, в старинную чекань кавказской работы и выбрал простую казачью, самую будто легшую в руку. Такую же, какой рубил лозу и глиняные чучела под руководством Хан-Мурадова, сухого, маленького, жилистого ингуша с широкими покатыми плечами и талией в наперсток.

Уроки даром не прошли: наивный ребяческий трепет и романтическая, что ли, через книги, зачарованность бесстрастно-хищной красотой холодного оружия («Не по одной груди провел он страшный след...») как будто уже перешли в привычную тягу к нему и даже охлажденную, почти ремесленную дружбу.

Но все-таки Сергей не мог поверить, что он уже у Леденева, сидит и разговаривает с этим человеком во плоти; что завтра же очутится в сосредоточии той силы, о победах которой кричало советское радио; что, возможно, и сам налетит на врага и рубанет, достанет по живому, откроет заточенную в костях и мясе душу, просечет ее страшным ударом, чтоб навсегда остался след, чтоб никогда не забывалась эта лютая свобода – пересоздать, переиначить мир.

– А что же о приказе ничего не скажешь? – спросил Леденев, наблюдая за ним, словно за первыми шагами ребенка без поддержки.

– Так вы уж будто без меня решили, – засмеялся Сергей злобно. – Бригада вон уже ушла – чего ж мне, кидаться за ней? Да я и обстановки, в сущности не знаю.

– Вон карта, погляди. А лучше вечерять садись да спать, – немедленно сжалился комкор, и Сергей то ли вспыхнул, то ли похолодел, решив, что над ним издеваются.

– А начпокор Шигонин что же – почему вы его на совет не зовете?

– А вон у Пантелеевых в хлеву поросенок живет – почему не зову?

– Ну, знаете...

– Вот именно, знаю, – сказал Леденев. – В Саратове есть доктор, Спасокукоцкий – может, слышал? Так вот, он как Лазаря меня воскресил, потому как Господь наделил его даром таким – с того света людей доставать. А, скажем, мне или тебе такого дара не дал. И если б я, допустим, встал над человеком при смерти да начал его резать, как телка в домашности, так, верно, и сгубил бы, а?

– Вы что же, в Бога верите? – спросил Сергей с вызовом.

– Нет, не верю. Я каждый день господнее творение глазами вижу и руками шупаю. Управил же кто-то, что каждый из нас таков, какой есть, и только то и может совершать, на что был от рожденья предназначен.

– Так ведь и вы учились... ну, стратегии. И если учиться...

– Ну-ну, валяй. Труд обезьяну человеком сделал, говорят.

Сергей, не зная, что ответить, сел к столу, почувствовав себя мучительно нелепым с этой шашкой – словно подаренной ему игрушкой, которой можно невзначай порезаться.

Расстеленная перед ним штабная карта была теперь как бы гербарием старого, уже не существующего положения сил. Сергей вбирал ее, обшаривал глазами, а Леденев уж стягивал свои напоминавшие чулки, из мягкой кожи сапоги с окованными по износ каблуками.

Полосатая змейка железной дороги ползла к папиллярным извивам тех самых Персияновских высот, в тиски, в насаждения синих гребенок, в ледоходный затор зачерниленных и наискось полужакрашенных прямоугольников (пластунских и конных казачьих полков) и уводила взгляд к неровным заштрихованным квадратам далекого и близкого Новочеркасска. Казачья конница стояла за валами, за всеми гребенками, скобками, реснитчатыми полудужьями окопов, и как ее оттуда вытянуть на голую равнину, Сергей не понимал.

Заснуть он, конечно, не мог. На расстоянии, казалось, запаха, дыхания не то спал, не то бодрствовал овеванный легендами войны, живой, несомненный теперь человек, чью внутреннюю жизнь необходимо было разгадать, и человек этот двоился, троился перед ним – то совершенная, непогрешимая машина, то будто бы психиатрический больной, заговоривший под гипнозом, то, наоборот, совершенно здоровый мужик, насмешливый и приземленно-мудрый, даже не презирающий интеллигентов, разводящих бесплодную «умственность».

Северинские мысли скакали и путались. То он думал о завтрашнем дне, о том, как взметнется в седло и покажет себя Леденеву, то видел карту ошестиненных, клыкастых ромбами белогвардейских укреплений, то вспоминал «признательные показания» комкора («чья сила меня меньше унижает, за тех и воюю») и его же поповские проповеди, которым он, Сергей, не мог, однако, противопоставить ничего, в такую глубину... нет, не веков, не векового страха послушания, а именно самой реальности они уходили, как цепкая трава корнями в землю, и даже если ее выколоть, то вырастет другая, такая же живучая, упорная.

И Аболин не шел из головы, и стыд за свою слепоту свивался с ребячливой гордостью: а может, он, Сергей, и вправду Леденева спас? Но в это ему почему-то не верилось – такая, что ли, сила исходила от этого человека, что Северин невольно вспоминал суеверные слухи о комкоровой заговоренности. Да и в самом Аболине, верней Извекове, в давнишнем знакомстве его с Ледневым была какая-то загадка: упрямо чудилось Сергею, что Леденеву еще есть о чем поговорить с вот этим ходячим мертвецом. Наверное, совместная борьба за жизнь когда-то связывала их – такого не забыть. И эта вот невольная улыбка, как будто осветившая на миг лицо комкора...

А вдруг он, Леденев, сейчас подымется и тихо выйдет к этому Извекову, которого велел не бить и никого к нему не допускать? – кольнула мысль, не показавшаяся дикой, как будто и впрямь не более странная, чем все произошедшее сегодня, и какое-то время Сергей в самом деле сторожил каждый звук.

Но Леденев не двигался за загородкой, и вот уже не к месту, против воли шевельнулось то самое чувство двойного стыда, которое в нем поднял Леденев, заговорив о бабах. И тотчас вспомнились красноармейцы, с которыми Сергей уже успел поговорить, те самые прославленные леденевцы, иструженные переходом сквозь метель, набившиеся в хату и говорящие о золоте, которое возьмут в Новочеркасске, о женщинах, которых там найдут. И он вдруг подумал, что Леденев не то и сам такой же, как они, не то хорошо понимает, что только звериный инстинкт и может двигать несознательной мужицкой массой. Страх смерти с одной стороны и вождение с другой. Скакать сквозь смерть и быть либо убитым, либо вознагражденным. И эта мысль его не испугала и не оскорбила. Ему опять представилось, что он не в лагере красноармейцев, а в становой какой-нибудь древней орды, идущей завоевывать полуденные города, где женщины, мясо и мед.

Ему и раньше чудилось, что в такой кочевой, дикой жизни людей, даже и не людей, а кентавров, в непрерывных походах, в жестоких лишениях и потому столь яростном кидании на всякую добычу – в таком-то образе существования и есть полнота бытия, его ничем не приукрашенная, а значит, и ничем не искаженная нагая сердцевина. Быть может, таким-то и дол-

жен быть настоящий боец революции – по-звериному мощным и жадным, цельным завоевателем нового мира. Не то чтобы свободным от каких бы то ни было нравственных требований, но целиком отдавшимся... чему?.. кровавому бою, грабительству, поняв, что вот это и есть твоя сокровенная суть?..

Он не мог передать свое чувство, догадку словами – еще и потому, что чуял ноющий озноб, волною разливавшийся по телу. Да что же это с ним такое? Он не был невинен, но тот случай близости – с деревенской девчонкой, Марылей, привлеченной его командирством и новеньким, щеголеватым обмундированием: тот же самый барчук, только красный! – оставил в его памяти лишь силу телесного влечения и унижительное разочарование: ждал какого-то непредставимого, невыразимого восторга – и ничего, обман, опустошенность, нищенская милостыня, одно физическое ощущение, не захватившее души.

Он мало знал женщин, смотрел на них сквозь книги, музыку, стихи, сквозь виденья тургеневских девушек, роковых незнакомок и всадниц Майн Рида, а с другой стороны – сквозь отцовские медицинские энциклопедии, которые не только раздевали, но и потрошили человека, вываливая для ознакомления раскрашенные внутренности, показывая страшные сифилитические язвы, провалившиеся, как у смерти, носы...

Конечно, он был молчаливо, угрюмо влюблен – в необыкновенную девушку, Соню Брайловскую, в ее антилопьи глаза, неизъяснимо лицемерную улыбку приглашающего отворачивания, – и не было сил допустить, что сделана она из мяса и костей, ест ту же пищу, что и ты, чихает, подмывает, что и она когда-нибудь умрет...

Да о чем же он думает? Корпусной комиссар! На которого завтра смотреть будут тысячи: какого к ним прислали нового большевика. А может быть, так действует сознание приготавливающего себя к смерти человека: вдруг вперемежку начинаешь думать обо всем пережитом и еще не испытанном, о том, чего, быть может, никогда уже не испытаешь?

Не мог уснуть – переполняло предстоящее. Завтра утром – в бою, на глазах Леденева – должно было решиться: пустое место он, Сергей, иль все же человек. Как будто бы такое же волнение испытывал он в ночь перед экзаменом, перед оценочными стрельбами и смотрами, и было странно, что сейчас боится немногим сильнее, чем тогда... А отчего же трепетать? Под орудийными обстрелами, под приникающим к земле пулеметным огнем он бывал много раз, видел смерть, хоронил своих павших товарищей, так странно, невозможно непохожих на себя живых... только вот никогда еще не дорывался до живого врага.

Ему вдруг вспомнились слова кого-то из наполеоновских маршалов: мол, воевал он двадцать лет без перерыва, но ни разу не видел двух сошедшихся кавалерийских громад, разве только как конница вырубала спасавшихся бегством стрелков. «А я вот увижу, – сказал он себе. – Вот это-то я завтра и увижу».

VI

Сентябрь 1916-го, Кениермеце, Венгрия

Голова ощущалась огромной, размером с ведро. От тряски вагона, от стука колес неуто- мимыми толчками наполняла ее боль, словно кто-то бил Романа молотком по голове, и он уже привык. Поезд бешено мечет назад какое-то незнаемое и непредставимое пространство, а потом замирает и подолгу стоит, и в вагоне совсем беспродышно, как в зарытом гробу. Но в этой-то бездвижности и оживают перемятые, как будто побывавшие под жерновами люди:

– Ах ты мать твою в душу, да что же они не дают нам поесть?

– Утро, что ль, или вечер? Бори-ис...

– Не утро и не вечер, а это мы на том свете.

– А жрать я хочу – это как? Душа-то, поди, есть не просит.

– А кто тебе сказал, что мы в раю?

– Святые отцы вроде как обещали. Всем убиенным за царя и веру.

– Им легко обещать. У них мосол говяжий в щах, а мы в окопах гнили, сухари сосали. Вот тебе и вся вера, и царь, и отечество. За что умирать? Одна и радость что отмучиться, от страха смертного ослобониться, чтобы сердце не жал.

– Без табаку совсем хреново. Харчи еще туда-сюда, а вот без курева зарез...

Грохочут засовы – и молнией, как Лазарю в пещеру, бьет в недра теплушки ослепитель- ный свет. Полуживые пленные встают и, как слепцы, протягивая руки, принимают подавание – чужал гнилого хлеба на вагон или «каву», разлитую по толкающимся котелкам и консервным жестянкам.

– Снова пойлом отделались!.. И когда ж будет хлеб?

Кипяток отдает жженой пробкой, полынком, желудями, но и его выхлебывают с жадно- стью... И опять бег машины, против которой ты ничто.

Под перемалывающий перестук колес в сознании Романа несвязные всплывают, меня- ются воспоминания. То он видит Карпатские горы, как в донские зеленые шубы, обряженные в гущину своих лесов; повитые куревом, на грани видимого сказочно-недосягаемо синеют их граненые вершины – неосяземо-воздушные, плавучие соборы, воздвигнутые не людьми, а самую землей, которая неисчислимыми веками жила одна без человека и искала Бога. И голос матери, в печном тепле и кислом запахе овчин напевно выводящий: «Котик-братик, котик- братик... Несет меня лиса за синие леса...»

А вот уж Хотинское поле, перепоясанное многоцветными шеренгами полков, недвиж- ных, как куртины неоглядного регулярного парка: одесские уланы, новгородские драгуны, казаки-оренбуржцы... Терцы в серых черкесках красуются серебряным узорочьем кинжалов и легкими статьями поджарых кабардинских скакунов, а дальше пламенеют полосатые халаты обугленно-смуглых текинцев, последним нестаявшим снегом белеют их мохнатые папахи, тос- куют в ножнах страшные, изогнутые полумесяцем клычи. Вороньим крылом, отвернутыми лемехом пластами чернозема лоснятся крупы, спины, груди вычищенных лошадей, блестит их ременная сбруя, даже жиром натертые, словно крытые лаком копыта.

А вот чубатые донцы на кровных степняках – на миг Роману кажется, что он различает Халзанова, его горбатый хищный нос, его безулыбчиво спаянный рот, его лицо с пролегшей меж бровей бороздкой тяжкого, бесплодного раздумья. Быть может, эту появившуюся складку тревожно целовала Дарья, когда пришел в отпуск домой, пыталась загладить ее, заживить, вер- нуть лицо то, молодое, счастливое, способное свободно, бездумно улыбнуться. А может быть,

хотела сохранить уже бесконечно родные черты, не пропустить ни одного ничтожного кусочка, всюду выжечь свое неизгладимое хозяйское тавро, исходить, опечатать губами, заковать боль и смерть. А его, Леденева, никто и не ждет...

И вот уж как от смерти летит из Хотина махальный, полоща в струях ветра багряный флажок. Лицо такое, словно увидел что-то воистину чудесное, о чем слышал от бабки на печи: подводный град, архангельское воинство, лик Богородицы на солнце... и все, что остается его распахнутым глазам, – остановиться или лопнуть, а сердцу – разорваться от восторга. И как будто прояснело – сквозь тяжелую наволочь туч, угрожавших дождем, просиял вышний свет, опалил построжавшие лица, затопил все Хотинское поле, полыхнул на клинках, трензелях, стременах, словно впрямь превращая казачье-мужицкое войско в небесную рать.

Оглушенный потоками меди и катящимся прямо к нему исступленным «Ур-р-р-а-а-а!», Леденев видит только переднего невысокого всадника с оторочкою свиты и шлейфом конвоя, в самом себе и каждом рядом чувствуя трепещущие струны напряжения, которые все туже накручиваются на колки по мере того, как живой, невыносимо настоящий император приближается к нему, мужику-Леденеву, проезжая вдоль строя от правого фланга до левого.

Все отдают вот этому единственному всаднику то самое, что всякому живому существу, и лошади, и человеку, дается труднее всего – свою совершенную, нескончаемую неподвижность. Надолго замерев, выказывают этим, что все они готовы за него и умереть... А он, государь, уже поравнялся с гусарами, и Леденев уж различает подрагивающий храп его белой лошади, и спокойную непринужденность посадки, и холеную рыжую бороду, и пытливо сощуренные серовато-зеленые, как у кошки, глаза.

Несмотря на улыбку в глазах, на холеность, лицо казалось бледным и осунувшимся от усталости, и когда пропадала улыбка, на нем проступала не то застарелая, уже непобедимая тоскливая покорность, не то просто скука, пресыщенность и отрешенность ото всех и от всего, что *он* должен делать.

Роман не понимает. Вся фигура царя, и посадка, и каждое движение его выражают полнейшую, ничем не нарушимую уверенность, что всё вокруг него мгновенно замирает и оживает только потому, что этого желает он... да и не желает, а просто так должно быть и никогда не будет по-другому. И все, от Брусилова до рядового, должны это чувствовать и необсуждаемо чувствуют это, счастливые стараться, замирать и умирать. Но откуда тогда столько смиренной, терпеливой тоски – как в глазах у дряхлеющей, не могущей уже пробежаться за зверем собаки или, скажем, во взгляде измученной тягловой лошади?

Обратившись к гусарскому строю лицом, государь говорил те слова, которых, как он думал, ждали от него. Благодарил за верную и ревностную службу, называл молодцами, храбрцами, героями, заглядывал в глаза, лучисто улыбался – покорно делал то, что, как он думал, должен делать, что вложили в него с малолетства, предназначив с рождения, не думая о том, чего он хочет сам и что он может делать хорошо. «И этот – батрак. На кого же батрачит? На Бога?..»

– Вахмистр Леденев, – говорят про него государю. – Несравненный рубака. Многократно выказывал беззаветную храбрость.

– Каков молодец, – в нескитанный раз говорит государь, остановив на Леденеве ласковый, но исподволь тлеющий скукою взгляд. – Откуда же ты, братец, родом?

– Багаевской станицы, ваше императорское ве-ли-че-ство! – кричит наразрыв Леденев, обжигаясь словами и ощущая отвратительную дрожь.

– Казак? – недоуменно изгибается рыжеватая бровь.

– Никак нет, ваше императорское!.. Иногородний.

– Что ж, братец, послужишь, как раньше служил? – На лице государя выражается будто растерянность, и голос звучит едва не просительно.

– Рад стараться, ваше императорское величество! – кричит он немедленно, а в голове уже кипит: «Нежели из-за этого мы? Убиваем людей далеко от родимой земли, костыли принимаем в награду? Как может такой всеми нами владеть? Да он только думает, что это он нас направляет, и мы только думаем, что ждем от него приказания. А по природе: всеми нами и силен, а один – то же самое я иль Блинков... Коней пустить – и мокро будет».

Он смотрит на царя откуда-то со стороны – и видит всю малость вот этого одного человека, даже прямо ничтожность его передо всей громадою застывших лошадей и всадников, передо всей огромной силой их задавленных потребностей, растущей обиды и злобы за постоянную необходимость умирать, за свои бесконечные тяготы, за отрыв от семей, за неведение, ни когда, ни чем для них закончится война.

В разъяренных временах, наивно-голубых, как у детей, глазах старых унтеров поблескивают слезы; все тысячи гусар, улан и казаков не отрывают от царя впивающих, обожающих глаз, словно впрямь отдавая ему что-то самое сильное нутряное свое и поверив, что смерти для них больше нет.

Вся громада бесхитростных, грубых, неграмотных, образованных, знатных, безродных, зажиточных, бедных, даже разноязыких людей удержана в неподвижности понятиями воинского долга, служения отечеству и клятвы перед Богом, а еще, вероятно, и крепче всего – самым древним на свете, невытравимым в человеке страхом одиночества и смерти: в неразрывном единстве, в строю, в боевой красоте еще пульсирует надежда уцелеть, а в безначальной давке – никакой.

Но разве слиться в человеческое братство можно только под царем, спаяться лишь перед лицом повальной смерти, на которую царь всех и гонит? Неужели нельзя заедино потянуться не к этому, слабому, пригнетенно-усталому человеческому существу, а к самим же себе, к своему нутряному «домой», «хватит, навоевались»? Почему бы свою волю людям не взять?.. «Так у каждого воля своя, – обрывает себя Леденев. – У казаков своя, у мужиков... и казаки, и мужики, опять же, разные бывают... У дворян, офицеров своя. Попробуй вон Барбовичу сказать чего-нибудь против царя – рубанет. Какая армия без послушания? Какая красота без Бога и царя? Если каждый свой голос подымет, вовсе резать друг друга начнем, и потопчут нас немцы, все к едрене Матрене пойдет... Ну и как же тогда? Покоряться? Дальше землю собой удобрять? Так и впредь матерям получать на сынов похоронные? Я-то ладно, еще повоюю, мне всю жизнь воевать, а других гнать на смерть? За кого? Вот за этих лошенок?.. Значит, воля должна быть одна. Чтоб не меньше царя была сила, чтобы вера не меньше, чем в Бога, но такая, чтоб нас, мужиков, твердо ставила, гордость в нас выпрямляла. А то он думает, что знает, чего надо мужику. Полагает, что счастье великое – умирать за него, а нас самих и не спросил...»

Что-то сделалось с ним. Он вдруг почувствовал, что можно самому – даже и одному – изнутри расшатать, стронуть с места вот эту громаду людей и коней, не изломать ее порядок, не разметать, не рассорить, а в той же слитности направить на любого, повести за собой на того, кого сами посчитают врагом, – и покатится эта первородно-могучая сила, выжигая по всей земле то, чего быть не должно, и неся, утверждая одну свою волю.

«Во весь мах коней выпустить», – повторил про себя Леденев, ощущая, как зубы его оголяются в своевольном оскале... Но вот как святотатца, отвергнувшего веру, швырнуло его обратно на землю, сорвало дыхание, отшибло все памороки. Сквозь заволокшую ущелье каменную пыль он видит проступающие цепью серые фигуры, острошипые каски германцев. Чужая неотвратимо подступающая паника, он пытается встать, но не держат чужие, далекие руки и ноги. Корябает застежку кобуры. И уже на последнем десятке саженей качаются тусклые жала штыков, которыми его сейчас приколют, как зубьями тройчаток – закопканенную крысу.

Он дважды стреляет в высокого унтера, с усилием взводя тугой курок, и колодка нагана утекает сквозь пальцы. С бессмысленным упорством силится подняться, как будто это главное,

что он обязан сделать, как будто смысл в том, чтоб быть убитым стоя, как будто усилие встать единственно дает ему почувствовать себя, а если лежишь – уже, значит, мертв...

Везли двое суток. Под грохот засовов опять полыхнула зарница, и закричали «ауфштейн!» и «выходить!». Паровозное пыханье, гулкий звон буферов, железные тычки, винтовочные дула, ползучее шарканье тысяченогого серого гада. Гимнастерки, шинели, шаровары, обмотки – все из грязи и пота сработаны...

Их гнали, как скот, по перрону и по булыжным улицам среди каменных домов, в краю какого-то иного, не представимого в донских степях и даже русских городах порядка, где как будто и вовсе не осталось земли, свободной от давно уж вкорененного в нее, вмурованного камня, на котором здесь держится все, даже небо, всюду он – обомшелый, столетний, незыблемый и неприступный в богомольной своей устремленности ввысь.

Но вот потянулись подсолнечным полем. Кругом неоглядная желтая марь под дымчатым небом. Семенящие пленные, воровски озираясь, срывают тяжелые, пухлые шляпки подсолнухов, прячут их под рубахами, с голодной жадностью выщипывают семечки, жуют с лузгой вместе.

Дорога тянется под изволок, и желто-пламенная цветень поля обрезается пустошью. Трава еще упорствует десятка три саженой, но с каждым шагом чахнет, сменяясь совершенно голой, черепкастой землей. Идут, как по дну пересохшего озера, растресканному, красно-бурому, как спекшаяся кровь, идут, словно остатки проклятого Богом воинства, как стадо одержимых бесами евангельских свиней, таких нечистых, что и топь не принимает их.

Изрезанное бороздами разработок, ржавеет торфяное поле. В широкой котловине – то ли шесть, то ли восемь огромных бараков в двойном загоне из колючей проволоки, по четырем углам господствуют сторожевые вышки.

Расхлебенились рамы ворот. На плацу меж бараками – сутолочь и качанье стоячих утопленников. Многоязыкий гомон тысяч – чужая и схожая с русской, родная, безродная речь закручивает неразрывные бурливые узлы, и кажется, что слышишь шум реки, лишенный всякого значенья. Черно-опаленные, грязно-щетинистые, костляво-обезжиренные лица. Ввалившиеся, тусклые, то зверовато-беспокойные, то безучастно-отрешенные глаза. Такие же, как там, за пропасть верст отсюда, – у полчищ живущих на фронте кротами, червями, ползком, поклоняясь земле, зарываясь в нее, чтобы скрыла от смерти.

Воздух в длинном бараке был вязок и зыбок, как студень, – приходилось его разрывать. От земляных полов до потолка – трехъярусные нары, большей частью пустые. Вновь прибывшие овцами сбились в проходе, не зная, какие места занимать.

Плюгавый надзиратель-австрияк, стоявший у стола, заваленного вещевыми мешками, всучал подходившим по брезентовой сумке: внутри котелок, ложка, вилка и нож с закругленным концом, две щетки из конского волоса, моток суровых ниток, две иголки и даже с полдюжины разнокалиберных пуговиц.

– Ну немцы дают! Лучше наших каптеров. Кажись, можно жить, братцы, а?

– Ага, и ступай к ним вот с этой посудинкой – не иначе как шей с потрохами дадут. Народ-то видал? Еле ноги таскают. А ты немца уже полюбил, как собака.

Распихали по нарам.

– Вы офицер? – услышал над собой Роман.

Красивое, породистой печальной красотой носатое и тонкогубое лицо нервически подергивалось, казавшиеся непомерно большими глаза горели накалом упорства и злобы, как у коня, которому до крови сбили спину.

– Неужели похож?

– Верно, все мы уже на себя не похожи, – подавился смешком офицер. – Но в вас еще есть что-то от человека.

– Премного благодарен, ваше благородие. Вахмистр я. Роман Леденев.

– Ну что ж, а я Извеков Евгений Николаич. Позволишь присесть? – На нары Извеков кивнул с таким омерзением, словно все, что вокруг, угрожало уже несмыслимому опоганить его. – Ты будто бы гусар?.. А, келлеровский корпус, славно. Поручика Эрлиха знаешь?

– Убило его. За Прутом.

– Что ж, луце ж потяту быти... Увы, не все так думают, и с каждым днем всё меньше. Ты только посмотри на них.

– На кого же это «них»? Как будто такие же русские.

– Ну да, такие-то мы, брат, теперь все русские. Стыдно, как стыдно. Героев у нас много, но и мрази не меньше. Сдаются ротами и чуть не целыми полками. Не раненые, не бесчувственные, нет. Кидаются к германцам, как в братские объятия. Мечтая об одном – о послаблении. Чтoб кто-то, хоть германец, избавил их от долга воевать за собственную родину.

«Умом рехнулся, что ли?» – подумал Роман и спросил:

– А вы, вашбродь, что, были ранены?

– Представь себе, – ответил тот с вызовом. – Бомбой с аэроплана, когда мой полк форсировал Стоход. Очнулся и полз, как червяк... А ты, что же, сам сдался?

– Такая же чепуха. Из «кряквы» нас немец в ущелье накрыл – слышали про такую? Снаряд у нее в землю входит на сажень. Оно само собой, не надо бы мне плена, однако же в окопах то же самое гниешь. Поганое дело – ползком воевать. Тут уж и впрямь на Бога одного надежда, а сам уже не можешь ничего.

– Да-да, ты гусар. Я, брат, и сам не знаю лучшего, чем конная атака... У Федора Артуровича с его железной волей никто и не подумает о плене. То же и казаки – особенная нация. Но мужик, так сказать, из середки, а тем паче фабричная шваль – вон они, посмотри, – зыркнул он на возящихся по соседству людей, и губы его передернулись в злобе. – Получили по ложке – и готовы кричать, что австрийское стойло лучше русских окопов. Им, видишь ли, втемяшили в башку, что немецкий рабочий и австрийский крестьянин им братья. Что надо протянуть друг другу руки через проволоку и пойти по домам. Что нет никакой земли предков, а есть угнетатели трудящихся классов. Ты, верно, братец, тоже почитывал эти листочки?

– Ну коли грамоте обучен, отчего ж не почитать? – В печатных воззваниях, которые гусары находили в своих простуженных окопах и землянках, Роман находил много верного, но спорить с Извековым ему не хотелось.

Плен заслонил ему все остальное, как чувство жажды подавляет чувство голода и тем более злобу к тому, кто не давал тебе наесться вдоволь.

– Ну и что же ты думаешь?

– А думаю, что хорошо бы было, когда б никто из мужиков читать не умел, – ответил Леденев с усмешкой, думая: «Царю хорошо да вам вот, помещикам».

– Один умеющий читать растолкует вот эту писульку десятку неграмотных. Что, собственно, и наблюдаем. Солдаты разложены большевиками и не желают воевать.

– Да вшами они разложены, – не вытерпел Роман. – Лучше вшей агитаторов нет, либо хлеба гнилого и дырявых сапог. Да и ладно бы вши, ладно смерть над тобой. А дома что, в хозяйстве? Баба – клячей в запряжке? Детвора золотушная? За это, что ли, муки принимать? Да за тех дурноядов, какие у нас в Петрограде сидят и обедают каждый день с мясом?

– Ну вот и ты уж начинаешь поддаваться этой дряни, – усмехнулся Извеков, посмотрев на Романа нежданно спокойно и даже будто сострадательно – своими странными, печальными глазами, казавшимися подведенными, как у Петрушки в балагане.

Тонкокожий, издерганный, он, видно, вспыхивал как порох и так же быстро остывал, но говорил не умолкая:

– Увы, в твоих словах есть доля истины. Поглядишь на какого-нибудь биржевого торговца или сына заводчика – почему не на фронте? А половина мужиков в окопах, отчего и в полях недород. Спекулянты скупают весь хлеб и непрестанно поднимают цены. В тылу совершенный

бардак: интенданты воруют, промышленники поставляют гниль и рвань. Да, есть законы экономики, и они сейчас действуют против России, но ты не понимаешь главного, ты путаешь вершки и корешки. Ты решил: если твой государь подвергает тебя нескончаемым тяготам, ничего не давая взамен – мяса, хлеба, сапог, – тогда и ты не должен своему монарху ничего. Да и не ты, а миллионы так решили – что они никому ничего не должны. У них теперь главное – права человека. Свобода! Свобода от чести, от долга, от совести. Родную землю от германца защищать? Идите к черту, я свободен, мой первый долг есть самосохранение. Все, что естественно, не безобразно, и пусть интендант ворует сукно, и пусть рабочие нарочно портят пушку и винтовку, и пусть солдаты обнимаются с германцами, и да святится имя человека! Все только и делают, что требуют, требуют, требуют, – и каждый признает за человека исключительно себя: «мне, мне», «я хочу». И чем это кончится, а? Повальным братанием, свальным грехом? Германская нация, у которой порядок в крови, спихнет Россию в выгребную яму?..

Извеков еще долго говорил, и Роман соглашался со многим, находя в его длинных речах подтверждение собственных мыслей, своего недоверия к той большой правде, которая была в воззваниях социалистов, – слишком, что ли, хорошая для человека и потому недостижимая, сказочная, такой переворот всей жизни обещавшая, что, кажется, и сбыться не могла, как ни были вольны в своей судьбе и даже в перемене места люди, прикованные к своему жилью и плугу неизбывной нуждой.

Он слушал с жадностью, довольный, что Извеков говорит с ним как с равным, как образованный с таким же образованным, и что он, Леденев, понимает его. При этом было ясно, что Извеков говорит скорее сам с собою, что он и вправду, видно, малость повредился головой – не то от мучения плена, не то от контузии, – а может, ему просто нужен был слушатель и никого, кроме Романа, не нашлось.

Когда Извеков выдохся и замолчал, Роман, предупредительно покашляв, спросил о насущном:

– Вы, ваше благородие, не знаете ли, где мы?

– Мы, братец, на Дунае, в сердце Венгрии. Недалеко от Будапешта. В Эстергоме. А сейчас – в карантинном бараке.

– Всего-то двое суток ехали – и уже в самом сердце? Стало быть, и до фронта не далеко, – усмехнулся Леденев и понял по глазам Извекова, что тот хорошо его понял.

* * *

В неведомо какое время, в незнакомых местах бог знает кто – отряд из восьми человек, одетых, как блуждающие дезертиры или просто ошметки разбитого войска, – вели в поводу трех истощенных лошадей, подымаясь по долгому взгорью, петляя меж огромных ледниковых валунов, среди которых попадались вдруг разрезанные, как конским волосом высокий каравай, неведомо какой небесной силой. Похоронно выл ветер, обдирая обнаженные руки, лицо, громадными волнами перебивал мириад снежных хлопьев, порхающих над миром, точно пух из распотрошенной перины.

В молчании карабкались все выше, лосиными, козыми тропами сквозь черный ельник, сквозь рошчицы приземистых дубов, сквозь матерый сосняк, туда, где снег лежал уж высотой с аршин, валил все обильней, все гуще, пухлой мглой забвения застыл ближайший будущий.

И вот уж вереницей двинулись вдоль каменной стены, отвесно уходящей куда-то в небесную твердь, тащили под уздцы упершихся коней, приседавших на задние ноги от страха и в любую секунду могущих сорваться вот с этого узкого выступа, увлекая тебя за собой в беспроглядную бездну, куда падать, казалось, так долго, что память о тебе сотрется раньше, чем ты наконец разобьешься о камни.

Поводья резали ладони до костей, кладя такой глубокий след, какой кандалы оставляют на запястьях у каторжника, и мускулы, казалось, распускались, как веревки на колодезном ворота. Завывающий ветер обрезал полохливое лошадиное ржание, пресекал в самых легких дыхании, забивал воспаленную глотку леденистым песком.

Наконец обогнули вот эту, подпиравшую небо скалу и, не веря глазам своим, замерли на перевале: угрюмым бесприютным миражом в свинцовых сумерках простерся вниз лесистый склон, такой недостоверный, призрачный, что боязно шагнуть. Но вот пошли, все больше углубляясь в частый ельник и уже ища место, где можно устроить ночлег. Забились в расщелину, привязали коней и рухнули средь валунов, словно уложенных руками великанов в подолбе циклопического очага.

Никто из них, казалось, не мог уже и пальцем ворохнуть, но вот все вразнобой зашевелились, и трое из них поднялись и пошли рубить лапник поблизости... И вот уж все кружком, притиснувшись друг к другу, сидели вокруг горящего костра, протянув к нему руки и, как завожженные огнепоклонники, не спуская глаз с пламени, вбирая благодатное тепло и преданно оберегая вот это первобытное спасительное чудо от завывающего ветра и всей окружающей тьмы.

Языкастое пламя трепетало и никло к земле, но не гасло, по-собачьи лизало поднесенные руки, неверно озаряло обхудалые, неподвижные в усталости лица.

– Вот идете вы, Зарубин, к русским, – медленно заговорил один из них, будто с усилием припоминая слова родного языка, и пламя выхватило из чернильной темноты давно не бритое лицо Извекова со ставшими еще огромнее от худобы глазами. – Но какие ж они вам свои? Доберетесь, допустим, а вас арестуют как уже неприкрытого большевика. Ведь я молчать не буду. Леденева вон нам совершенно распропагандировали – как губка вашу мерзость пьет, вместо того чтоб дать по морде хорошенько. Направлялись бы сразу в Женеву. Там ведь, кажется, нынче все ваши вожди собрались – радители за счастье русского народа.

– Иду я с вами потому, – ответил названный Зарубиным, – что еще неизвестно, кого из нас там арестуют – к тому самому времени, когда мы наконец-то дойдем.

– А не слишком ли много вы о себе воображаете?

– А кто же это жалуется, что мы уже всё разложили? Что солдаты на фронте давно уже слышать ни о чем не желают, кроме дома и мира? Ну и чего ж бояться мне и почему бы не бояться вам? – размеренно цедил вот этот человек, казалось, совершенно убежденный, что там, за горами, за мраком, на самом деле все уже перевернулось, а если нет, то ждет он этого, как ледохода по весне.

– А знаете, товарищ, если ваши пророчества по социал-демократическому соннику и вправду сбудутся, хотя бы и отчасти, я вас сам пристрелю, – отчеканил Извеков.

– Э! Зачем так говорите? – с нерусским акцентом сказал сидящий рядом с ним широкоплечий, статный человек. – Как братья стали, нет? К своим доберемся, поможет нам Бог, – и что, как и не было? Под мертвецами вместе не лежали? Последний кусок не делили? Как можно такое забыть? Как можно брата своего убить и говорить такое даже?

– Ну вы-то, князь! – проныл Извеков. – Что ж, ваши деды белому царю не присягали? А он своим богам поклялся, Марксу – слышали про такое божество? – разрушить государство русское до основания, чтоб не было ни Бога, ни царя. И что ж, он после этого вам брат?

– Вы меня уж за дикого-то не держите, – обиделся тот.

– А чем же вам не нравится быть диким? Так называемый дикий тверд и целен в своих правилах чести. Да я, если хотите, сам такой вот дикий, на том и стою. Так называемый дикарь не ищет проку в своей верности и всякую награду почитает для себя достаточной, да и не ждет он никакой награды.

– Долготерпит, милосердствует, не завидует, – послышался смешок четвертого скитальца, сидевшего угнувшись и дрожа.

– А что, не так? – откликнулся Извеков. – Не завидует – так уж точно. Покорно занимает место, которое отвел ему Господь, а не спрашивает, то ли место ему отвели. Он по наивности своей и думать не смеет, что его обделили. Эх, милый мой, да если б все мы были дикими, то и горя не знали бы. Все оттого, что много о себе воображаем. И первым делом, дорогой мой, мы, интеллигенты и даже дворяне. Сами первые вдруг и решили, что нам надобен царь поудобнее. А за нами уже и народ. Каждый вдруг почему-то решил, что ему от рожденья недодано. Оттого-то и тяга большая – ре-во-люционная.

– Хорошо вам рассуждать, – вдруг сказал Леденев, одетый, как и все вокруг него, в облезлую австрийскую шинель. – Вам-то вон всего сколько от Бога положено: и земли по пять тыщ десятин, и гимназия, и наука военная, и англичане кровные сыздетства под седлом. Можно и не просить ничего, все и так уже есть – знай служи. А нам чего от Бога, мужикам? Отцовские мозоли по наследству да уродский горб? За чужими конями ходить? С военным делом то же самое – строю учат да рубке, как медведей на ярмарке. Не то что по-немецки говорить, а и по-русски складно не умеем. Как же нам не обидеться? Одного, господя, никак в толк не возьмете: каждый рот куска просит. Вы желаете кушать – так и нам ить без хлеба никак.

– Так что ж, тебе и хлеба не давали? – поддел его Извеков.

– А вы его, вашбродь, видали хлеб-то, каков он есть не на столе, а в поле? А то, может, думаете, что он так и родится караваем, у булочников-то, а нам вон с Улитиним вовсе не надо пахать? Да и много чего окромя есть, без чего человек уже не человек. Ежли гнут почем зря, ежли жизнь твою выхолощивают чисто как боровка да ни слова сказать не дают, значит, скот ты и есть. Книжки те же, наука – вредно нам много думать? В темноте нас хотите держать? Да покорности требуете? Как по мне, нет поганее слова, чем ваша покорность. Вот вы говорите: Россия, благолепие, сила великая. Только сила-то эта, вашбродь, на мужицких хребтах испокон и стоит. Вы этой красотой любуетесь, а я ее, допустим, и не вижу: держу ее – хребет трещит, того и гляди вовсе сломится. А сломится он – и рухнет вся красота.

– Так чего же ты требуешь? – взбеленился Извеков. – Вот ты, лично ты, георгиевский кавалер? Своей отвагой, сметкой и усердием ты, считай, уже выслужил прапорщика, и мы, офицеры, тебя принимаем в свой круг.

– Да как же, приняли бы вы меня, когда бы не плен.

– Служи как служил – будешь вознаграждаться и впредь, – упорствовал Извеков. – Или ты хочешь все и немедленно? Мои пять тысяч десятин земли, мое образование? Хочешь переворота всего? И как же ты предполагаешь устроить эту мировую справедливость? Что, пойдешь за такими вот большевиками? Бросишь фронт, командиров, товарищей... тьфу ты!.. бросишь братьев своих, на большую дорогу пойдешь, отберешь у меня все, что надобно? У купца, у зажиточного мужика, у соседей своих – казаков? Ровно так же, как Каин у Авеля? И ты думаешь, мы отдадим? Вот вы, князь, отдадите? Ведь он вам брат и все мы братья.

– Не слышим мы один другого, – ответил Леденев с тоской, но будто и с глухим упорством человека, все для себя уже решившего. – Не может быть так, чтоб один разогнуться не мог, как трава под копытом, а другой его вовсе не видел на этой земле. Так вот и знайте: скоро ли, нескоро ли, а все одно в народе гордость выпрямится.

– Так как же мы сбежали?! – воскликнул тот, кого все называли князем, уже с каким-то детским отчаянным непониманием обводя всех своими бараньими, блестящими, как антрацит, глазами. – Вместе шли, хлеб делили, коней? А в России – не так?

– В этом и парадокс, дорогой мой, – сказал молчавший до сих пор немолодой уж офицер, похожий чем-то на Брусилова, с тощим желтым лицом и чуть раскосыми глазами. – Сейчас мы поспорим о переустройстве России, пообещаем пристрелить один другого, как только доберемся до своих, а после этого уляжемся и прижмемся друг другу, чтоб хотя бы немного согреться. И дальше пойдем как один человек. В чужой стороне, в окружении врагов, в вопросе, так сказать, последнего куска, как вы верно заметили, мы проявляем чудеса единства, и пусть

не все, но многие способны послужить другому, как себе. Но как только уходим от смерти, этот соединяющий нас стадный страх одиночества слабнет, и мы опять становимся голодными и сытыми. И что с этим делать – неведомо.

– Так, может быть, и надо научиться делиться с ближним всеми благами, как последним куском? – с улыбкой сказал тот, кого называли Зарубиным. – Вы же сами, Григорий Максимыч, признали человеческое братство как естественный инстинкт, заложенный в нас, – так отчего бы нам не заложить этот инстинкт в основу общественной жизни?

– Это рай, господин большевик, а рая на земле не будет никогда, хоть вы и беретесь построить его, – ответил Григорий Максимович.

– Ну так к кому мне прижиматься, господа-товарищи? – насмешливо-опасливо спросил дрожащий от холода, сгорбленный молодой офицер. – Пока тут несть ни эллина, ни иудея, ни монархиста, ни большевика. Леденев, к тебе можно?

– Тут вот ляг, а то опять к углям полезешь – обгоришь, – ответил Леденев, укладываясь на бок.

VII

Январь 1920-го, Юго-Восточный фронт, Александро-Грушевская

Говорят: во сне дети растут, летают во сне и растут – ему же, уже не ребенку, казалось, что каждый сантиметр его тела сам собой расправляется как будто бы в усилии толкнуть остановившееся время и приблизить рассвет.

В соседней горнице не спали, возились, подымали гомон, гремели утварью, стучали сапогами, и слышно было, как на двор въезжают вестовые, храпят и топчутся их кони, но комкора никто не тревожил – ничего чрезвычайного, надо думать, не происходило... И вот затопотали уже без страха разбудить – на деревянном островке расплывчатого керосинового света в дегтярно-черной бездне ночи, верст, ветров, – и Северин немедленно поднялся с голодной, ясной силой во всем теле. Проворно обулся, оделся, перетянул себя ремнями по шинели, оглядел револьвер, пристегнул к портупее леденевскую шашку...

Челищев, Мерфельд, Носов, связисты, вестовые разгоняли машину штакора – Леденев же исчез, так же неувовимо, негаданно, как появился. Обозлясь на себя, Северин поразился: как же мог пропустить – ведь не спал. Куда он уехал?

– Пора, товарищ комиссар, – сказал ему Носов, и Сергей, возбуждаясь, толкнулся наружу.

Густые лавы конных, безликих в косматых папах и нахлобученных остроконечных башлыках, неспешно, размеренно текли по проулкам, утягиваясь в сизую, гасившую мерцанье девственного снега полумглу. Нескончаемо-мерно похрупывал снег под копытами, пахло дымом костров, дотлевающими кизяками, свежим конским пометом.

– Комкор где? – спросил Северин.

– Да вот же, – кивнул влево Носов.

Возникший ниоткуда Леденев, в папаше черного курпея, в тяжелом овчинном тулупе, как будто отправлялся в зимнюю дорогу, а не к бою. Шагнул и полулег в тачанку с пулеметом Льюиса, не взглядывая на Сергея и ни на кого.

– Садитесь, Сергей Серафимыч, – позвал из соседней тачанки крест-накрест перетянутый ремнями, в защитном полушубке Мерфельд. – Ну что, приготавливаетесь к крещению? – усмешливо прищурил темные, какие-то черкесские глаза.

– Да приходилось видеть кое-что, – ответил Сергей насильственно-пренебрежительно.

– Но все-таки не нашу лаву, полагаю, – прочел на северинском лбу начоперод. – Когда Леденев ведет, есть на что посмотреть, уж поверьте.

– Считаете его исключительным?

– Таких больше нет и не скоро появятся. Моцарт от кавалерии. Я с ним пятый месяц и ни разу не видел, чтобы он повторился. Железная структура и бесконечная импровизация. Умеет он перерешить на всем скаку, иначе развернуть гармонию.

– Заменить, стало быть, невозможно?

– А вы к нам приехали поставить вопрос о замене? – с отчетливым презрением осведомился Мерфельд. – Ну так я вам скажу. Корпус, может, и не пропадет – у него теперь очень хорошая школа. Но что такое корпус? Молот тысяч, верней, десятки струн и молоточков, как в рояле, живой инструмент, и все зависит от того, в чьих он руках. И я не видел, чтобы кто-то так играл на людях, на девяти своих полках. Да и не в одной стратегии дело. Вы думаете, за другим бы шли? Сквозь этот буран? По конское пузо в снегу? Спустя три недели почти непрерывных боев? Голодные, тифозные, во вшах? По балке в обход этой ночью на Жирово-Янов пошли бы? Что ж, думаете, по паркету? Иудеям в пустыне было легче идти.

«Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет...» – припомнил Северин из Ветхого Завета, который издевательски, но ведь и признающе цитировал Извеков-Аболин.

– А почему за ним идут? – Он кинул взгляд на расписной задок тачанки, над которым торчала папаха комкора.

– Ответил бы я вам: из страха, но это совершенно недостаточно. Вот, скажем, и вы, и Челищев, и я можем встать с револьвером на пути у бегущей толпы, угрожать ей и даже кого-то убить. Но если побежит не эскадрон, а полк, тем более весь корпус – любого из нас просто стопнут. Что такое один человек? А вот мимо него не проскочишь. Да, это страх, но какой-то другой – он не уместается в дуло нагана. Кого и как накажут, это станет понятно потом, той кары для бегущего еще не существует, а смерть – вот она, у тебя на плечах, стряхнуть ее надо сейчас, а хоть бы и сдохнуть немедля, лишь бы не надрывать себе сердце нескончаемым страхом или, скажем, не мучиться больше в походе. А этот человек внушает страх перед собой, сильнейший, чем страх перед смертью. Нет Бога, кроме Аллаха, и смерти, кроме Леденева. А ведь он ничего не может вам сделать. Ну, пристрелит одного из сотни – так это еще, может, не тебя, а ты с остальными сомни его, стопчи и беги себе дальше. А они перед ним останавливаются. Идут, куда он скажет. А нет Леденева – и у матерого бойца какой-то детский страх покинутости, что ли... А впрочем, сами все увидите – чего же я его расхваливаю, как раб своего падишаха...

Донская бригада шла снежной пустыней – она была безжизненно тиха и ясна, необозримая заснеженная степь, под начинающим сиреневеть, таким же чистым небом. Метель не рябила, нигде по далеким буграм не кипел, жгутами не крутился снежный прах, ни единой белесой крупички не порхало в просторном, опрозрачневшем воздухе.

– А метель-то как будто и не собирается, – кивнул в проясневшее беспределье Северин. – Что ж теперь – безо всяких завес? Перед белыми как на ладони?

– Еще только утро, Сергей Серафимыч. Донщина – коварная страна. А во-вторых, вот это-то и значит перерешить все на ходу.

Косматый пар дыхания метался у горячих конских морд, рвался из черных дыр башлыков и бахромчатым инеем оседал на усах, бородах и все гуще седеющих гривах. Бригада текла в две реки, все двигалось будто само – без трубных кличей, без команд, и было уже что-то жутковатое, нечеловеческое в этом молчаливом, сомнамбулическом движении: будто и не живые конивсадники шли, а соткавшиеся из морозного пара смертоносные призраки, дышавшие такой же мертвой студью, как и мрак, из которого вышли, поскрипывая и побрякивая сбруей. Ох и страху они бы сейчас навели на белые дозоры и секреты, на еще не проснувшихся на валу казаков – наметом вырастая из-под снега, словно из ледяной преисподней.

Комкор полулежал в тачанке истуканом, ехал между двух серых потоков, как случайный попутчик. А небо вдруг из края в край неуловимо погрузнело, потемнело, как будто провиснув под натиском наплывающих с запада туч. Свинцовые громады их сбивались, спирались, напластовывались друг на друга, сплавляясь в беспроглядную, вся тяжелее давящую хмарь. Повторялось вчерашнее. Задул низовой, хлесткий ветер, погнал сипящую, дымящуюся зябь поземки по степи, поднял между колонн смерчевые жгуты снежной пыли.

Мерфельд красноречиво поежился и вздернул воротник мерлушкового полушубка. «Колдун, – мелькнула у Сергея мысль. – А впрочем, надо слушать местных старожилов, вот и все. Да и сам он рожа этих мест».

Колонны шли шагом, сопротивляясь гуттаперчевой стене нажимающего с юго-запада ветра. Пурга секла вкось, все гуще заштриховывая белым и будто бы стирая силуэты всадников, как тысячелетние ветры стирают барельефы древних храмов. Сергей не понимал, как теперь держать связь меж полками, а главное, меж штабом и бригадой Гамзы, которая ушла в обход валов на Жирово-Янов. Ведь любой вестовой заплутает в метельной степи.

Сквозь крошечную хмарь, сквозь кипящую мглу молочной сывороткой просочился безнадёжный, ничего не дающий рассвет. Метель уж не секла – залепляла глаза мириадами роящихся хлопьев, а вязкое, ползучее движение полков все продолжалось, и вот Сергею померещилось, что движутся по кругу, как если б кто-то наложил на них заклятие, которое не снять, сколь ни блуждай. И будто уже смысла не было вот в этом нескончаемом ползучем движении, в мучительном упорстве леденевцев, но они продолжали идти, раздвигаясь, сломав свои колонны, наполовину спешившись и взяв своих коней – спасителей и мучеников – под уздцы. Они шли так, словно вот эта цель была перед ними поставлена задолго до их появления на свет, словно это был не леденевский, а передавшийся по крови неумолимый и необсуждаемый приказ. Какая воля их толкает, чья? Самой революции или все-таки этого одного человека?..

Серебряный голос трубы ножом прорезал пухлую, загробную уж будто глухоту метели, и оба призрачных потока разлились направо и налево, потекли рукавами в кипучее белое марево, огибая засыпанный снегом курган.

Тачанка Леденева остановилась перед ним. Откуда-то из белой пустоты возникли коноводы, ведущие с полдюжины особых лошадей – четвероногих палачей в естественном отборе, инквизиторов, ибо все они были укрыты попонами от ушей до хвоста. Должно быть, те самые кони из сказки, в пристрастии к которым Шигонин упрекал комкора.

Комкор словно вылутился из овчинного кокона, оставшись в одной только темной череске. Спустился к коням. Стянул с одного обывделую попону, как охотник снимает слепой клубочек с головы прирученного сокола, потрепал по сухой, горбоносой, будто выточенной голове и не то чтоб взлетел, а как ртуть перелился в седло.

Поджарый тонконогий аргамак, одно с комкором тело, как спущенная с поводка борзая, вознес своего седока на макушку кургана, проваливаясь по колено в снег и брызгая из-под копыт мохнатыми ошлепками.

– Пойдемте и мы, – сказал Мерфельд. – Который комиссаров?

– А вот – Степан, – откликнулся ражий, веселый боец с обывделой гроздью спутанного чуба и светло-синими глазами на арбузно-румяном лице.

Простое, человеческое имя светло-рыжего коня смутило Сергея – то ли дело Буран или Ветер, – но Степан притянул его взгляд: сухая маленькая голова с чудесно осмысленным выпуклым фиолетовым глазом, косящим на неведомого человека как будто испытующе и требовательно, широкая лоснящаяся грудь дубовым комлем и высокие, сильные ноги, передние – стрелой, а задние – натянутым луком.

Мальчишески волнуясь, Сергей будто голыми нервами коснулся его шеи и окованной луки. Боясь промахнуться, поймал ногой стремя и кинул себя, как учили, в седло – немедленно восхитился своей ловкостью и в тот же миг понял, что на него никто не смотрит.

Бойцы штабного эскадрона, величественные и ленивые в своем матером совершенстве, равняли ряды под курганом. Кирпично-бурые и серые их лица были немые, устало-равнодушны и даже будто тупы.

Застыв, как врытый, Леденев не отрывался от бинокля, смотрел в непроницаемую муть сквозь рои снежных мух, залепляющих круглые стекла.

– Молчит «Ермак», а? Не слезает с печи «Илья Муромец», – сказал ему Мерфельд, ослабев.

В безвестье, в слепоте минута шла за час. Сергей, остерегаясь спрашивать, мог только догадываться, чего ждет Леденев. Должно быть, вестей от каждой бригады, а главное, от Партизанской, ушедшей на Жирово-Янов. Теперь Сергею показалось, что Леденев уже ничем не управляет и не может управлять, что и нет такой мысленной силы, которая могла бы управлять бригадами сейчас и сделать зрячими все тысячи людей. Но вот из метели, как из-под снега, вырвался косматый, в бурке, зверь, и серый кабардинец Леденева гневно захрапел и заплясал, грудью сдерживая чужака.

– Тарщкор! – хрипнул призрак. – От комбрига-один!

Мерфельд, сдернув перчатку зубами, уцепил четвертинку дрянной, желто-серой бумаги:

– Обошел. Балкой движется. Сказка!

– Комбригу-один стоять под хутором и ждать, – сказал Леденев. – Терпеть, как мертвые, покуда казаков от вала не оттащим на пять верст. Горской – рысью вперед, от донцов оторваться. Блиновской – вперед, держаться к Донской на уступе.

Сорвались вестовые, как листы из-под беглого карандаша. Кабардинец комкора пошел вниз по склону, и Северин послал за ним играющего, просящего повод Степана. Дробью сыпался вниз, обжигая лицо снежной пылью, и даже будто бы светлей, просторней стало в мире.

Пошли крупной рысью, и вот сквозь шерстяные полотнища метели проступили, сажеными рывками выросли серошинельные бруски Донской бригады. Леденев не касался поводьев и сидел нестигаемо прямо. Аргмак бежал сам, все тысячи коней и всадников текли и поворачивали сами – одно с ним, Леденевым, тело. Теперь казалось, что сама земная ось проходит сквозь него, и вся необозримая равнина со всеми ручьями, заливами конницы вращается вокруг него огромным белым кругом гончара – все движутся туда и замирают там, куда даже не поглядит, а подумает он.

Сникал, выдыхался предсказанный им лютый приазовский ветер, хотя еще толкотно, мутно было в воздухе от мириад снежных хлопьев. Громадными метельными валами был заслонен тот земляной, незыблемый веками вал, в существование которого пока и не верилось. Взаимно были скрыты друг от друга вот эти призрачные тысячи и стерегущие их там, в невидье, за метелью, зарывшиеся в землю беляки, присутствие которых в мире Северин пока что тоже не мог осознать как реальность, как будто накануне изучал не леденевскую штабную карту, а старинную, где белых пятен больше, чем исхоженных пространств.

И вдруг давно уже Северину знакомый и тем сильнее поразивший его вой, соединенный с клетотом и визгом, пронизал залепившую уши, набухшую над миром тишину – и пущенный оттуда, из незнаемого морока, снаряд встряхнул снеговую завесу всего сажень в сорока перед Сергеем и еще больше замутил пространство впереди.

Стихия еще безраздельно господствовала над землей, а люди, утверждая свое величие в природе, навязывая ей свою нужду, уже трясли над степью исполинскую пуховую перину, уже месили, рвали из-под ног друг друга вот эту выставшую, заметленную землю.

– Увидели, сволочи! По площади бьют, – ощерился Мерфельд, смотря на комкора. – А наши-то что молчат? Полчаса вестового от Малютина жду. Ведь затемно должен был выкатить погремушки свои.

– Ну так пошли поторопить. Комбригу-два – вперед аллюром. Держи, комиссар, погляди, где ты есть, – не глядя, протянул бинокль Сергею Леденев, словно только теперь и вспомнив о его физическом присутствии.

Сергей вцепился в трубки и приник. Распухала рябящая мгла от снарядных разрывов, и туда, встречу кипящей, громовитой лавине, сотворенной людьми и природой, – словно с ней и схлестнуться, рубить, кануть в ней без следа, – утекали колонны донцов, а уж до Горской было не добраться никаким воображением...

Невидимые батареи корпуса забили в ответ, в глухой, белый морок, в пустое. Над степью пухнул орудийный гул. Над головами штаба с клетотом и скрежетом перелетали трехдюймовые снаряды...

Леденев стронул с места весь штаб. Дорысили до нового, как будто все того же снежного бугра. Сергей опять приник к биноклю. По проясненным горизонтам, из края в край, вперегонки вымахивали грязно-белые вихревые деревья. Два цвета было в мире: уж больше не господствующий белый и черный – развороченной, вздымаемой земли, воронок, разбрызганных комьев и всего шевелящегося на равнине живого.

Все белое небо затянуто рваной, лениво клубящейся наволочью удушливо-едкого дыма – толкал, наносил его ветер в лицо, и Леденев закашливался, запечатывая кулаком оскалившийся рот, сгибаясь в седле и на миг становясь человеком.

Чашоба кипящих разрывов по фронту опала – бескрайняя, захлестнутая током тысяч, простерлась изрытая взрывами степь. Другой, несравнимый по тяжести, железно осадистый гул возник и разбух много дальше, накатывая с юго-запада, откуда недавно бил ветер, и Сергей догадался, что это саданули корабельные орудия белогвардейских бронепоездов. Но ни единого тернового куста не встало у него перед глазами, не дрогнула, не вздыбилась земля, засеянная черной зернью эскадронов, и не навис над головой железный скрежет перелетных снарядов – примерно в трех верстах правее ушибленно охнула и содрогнулась незримая степь.

– По правому флангу, блиновцев толкут, отрезают от нас, – пояснил ему Мерфельд и тотчас же расхохотался. – Не думают, что этот правый фланг давно уже у них в тылу. Глазам своим верят.

– Останься с Донской, – сказал Леденев ему тотчас. – Стоять за ложиной и ждать. Поехали, комиссар.

Следом хлынул штабной эскадрон. Частоколом колонн и сквозящего белого света, серой смазью шинелей пронеслись будто окаменевшие эскадроны донцов.

Еще один взяли кургашек, и над черной поземкой утекающих к югу полков Сергей наконец-то увидел туманно сереющий вал. Может, и не увидел бы – не расценил бы взглядом копотную пустоту на белесое небо и долгие скаты высот, когда б не черная пила казачьей конницы, которая заколебалась в горизонтах перед самыми высотами.

Весь клонясь к конской шее, выметывая снежные ошметья из-под бешеных копыт, дорвался до комкора вестовой – совсем еще мальчишка в красном башлыке. Восторг и суеверный ужас стояли по края в его глазах и, переполнив, выплеснулись на лицо:

– Танки... Танки, тарщкор! Огромные!..

– Батарею за мной на карьер.

Леденев на скаку осенил свою паству как будто и впрямь крестным знаменем – двоеперстием ткнул вправо-влево, и взводные колонны горского полка разлились перед ним рукавами, пропуская его и Сергея в зияющую пустоту. И немедленно следом в северинскую спину ударил живой, кровный гул, тряско, грохотно что-то вломилось в просвет, как будто волоча осумасшедшие молотильные катки по снежной целине, и, обернувшись, Северин увидел бешеных в намете уносных.

Сажень в десяти правее от Сергея смачно треснул снаряд, черно-белым фонтаном взметнулась земля, и вместе с ней, валя Сергея на спину, рванул в дыбки испуганный Степан. Северин осадил, налегая на конскую шею, и, весь дрожа от возбуждения, приник к комкорову биноклю.

Притянутая «цейсами», стена казачьих сотен запестрела несметью конских морд и мохнатых папах, и вот на ее бугорчатом фоне задвигались какие-то туманные квадраты, крупнея, рельефно очерчиваясь, превращаясь в плавучие серые глыбы. Он не чувствовал страха – одно лишь пожирающее любопытство, и будто бы в соседнем измерении, в котором он присутствовал лишь слухом, рвались неподалеку новые снаряды, и вот в коротких паузах стал слышен тугой дрожащий гул, и Северин увидел первую махину. Проклепанный откос стального лба, ребристыми ручьями льющиеся гусеницы, спадая с двухэтажной высоты опорных плит, готовые грызть, уминать под себя, утягивать под брюхо вспаханную землю, раздавленное мясо, смолотые кости...

– Ниже, мать твою черт! Ниже! Ниже! Дистанцию!.. По крайнему слева... Беглым! Огонь!.. – Настигшие комкора орудийные расчеты с неуловимой быстротой сняли трехдюймовки с передков и наводили мертвые и черные телескопические дула на чудовищ.

Луснул первый-второй-третий выстрел – пред серыми утесами взметнулись терновые кусты разрывов...

– Ну что ж ты, комиссар? – оторвал Сергея от бинокля леденевский голос. – Скажи свое слово.

Свечкой взвился седой кабардинец в снеговом островке, вознося Леденева над строем мерлушковых и суконных голов, и все сотни вокруг него взвыли, как один человек, и страшен был этот хрипатый, клокочущий, с подвизгом вой – словно впрямь зародившийся раньше всех слов на земле.

– Слуша-а-ай! – прокричал Леденев таким же, как у всех, сипатым, повизгивающим голосом, опустив на гудящую землю копыта и вонзая в Сергея указательный палец. – Комиссар говорит!

В груди Сергея все залубенело, но, чуя, что не может, не смеет онеметь, пересилился и заорал, по-мальчишески закукарекал, не думая о выборе сильнейших, лучших слов и кидая на ветер единственные, откуда-то берущиеся сами:

– Бойцы революции! Вон они, гады железные! Показались и думают, мы обмараемся! Перед кем?! Черепахами этими?! Черепахи и есть! Еле ползают! Снаружи броня, а внутри давно уже сами от страха в штаны напрудили! Они думают, нас остановят! Часы самой Истории вот тут, на этом валу, остановят! Да только как стрелки на часах ни держи, все равно солнце встанет над миром! Ничто ему не помешает взойти! Мы сдвинем эти стрелки нашей алой трудовой рабоче-крестьянской кровью! Всю до последней капли отдадим! А они... Кишка они прямая!.. – хрипел, зажатый конскими боками и повернутый к валу лицом, и тысячи взывали ответным слитным криком, колеблющим будто саму небесную твердь... Все были в нем, и он, Сергей, во всех... все ревели уже потому, что к небу безмолвно взлетела одна леденевская пашка, и, повторяя этот взмыв, рука Северина сама потянула из ножен клинок, твердея, прирастая силой сотен, одевшихся стальным жнивьем из края в край.

В белой пасмури неба раной вспыхнуло красное знамя. Сергей перестал быть один, в себе, для себя. Убить его было нельзя – захваченный потоком лошадей, он тек в вулканической лаве, и вся земля под ним расплавленно дрожала, как в дни сотворения мира.

Через сотню сажень неожиданно близко увидел протяжно клокочущий оплывень – то казачьи полки шли навстречу. Сходились две громады на галопе, поглощая несметью копыт разделявшую их грязно-белую пустошь, набирая к меже, обозначенной мертвыми глыбами танков, – как будто в запуски, кто первый заберет, захлестнет их собой, как речная вода на разливе.

То правей, то левей от Сергея на всем скаку вдруг спотыкались кони, валились, кувыркались, выбрасывая снежные шматы из-под копыт. Танки шпарили из пулеметов. И казачья волна захлестнула их первой, словно железные быки незримого моста... И вот уже Сергей увидел лица казаков – молодые и старые, сосредоточенно-спокойные и даже будто бы веселые, словно в свадебной скачке на тройках, – и вид этих лиц, вполне человеческих, на миг поразило его, словно он в самом деле ждал увидеть косматую, звероклыкую нечисть. На миг перед ним будто встало огромное неотстранимое, трясущееся зеркало. Но красного знамени там – в отражении – не было, и это-то, пламенем бьющееся, безубыльной кровью, ее вечной силой горящее знамя вернуло Сергея к незыблемому убеждению, что вот – враги, а вот они, вокруг него, несут его – свои.

А Леденев, где Леденев? И сердце его сжалось чувством страха и как будто уж сиротства: а вдруг убит, вдруг вырван из седла – и все уже катятся за одним только знаменем? Неужто спрятался за спинами от смерти?..

Леденев просто шел вровень с каждым и всеми из первого ряда, как любой из бойцов, как еще один камень в стене, и клинок обнаженный покоился у него на плече, как у всех, по уставу, как коса у идущего к полю косца, и лицо его было просторно и пусто, как все поля, которые

прошел, собирая с них жатву. И вот за последние три десятка саженей до разделительной черты аргмак его вышел вперед на три корпуса – как будто лишь наказом своей высокой крови, как будто лишь одним трясучим ревом лавы, пустившей его во весь мах, и Леденев вонзился в бешеную стену казаков один.

Так кнут выбивает на крупе коня белесый рубец. Сергей не поймал ни единого всполоха шашки, зато увидел, как кулями валятся с коней и словно бы в эпилептическом припадке выгибают дугою казаки на всю глубину этой просеки... и вот уже ему, Северину, надо было рубить самому. В упор увидел молодое и красивое оскаленное светлосое лицо – не того, на которого шел, а зашедшего слева, под голую, сжимавшую поводья руку. И сердце тотчас вспухло ударом животного страха, но этим же сердцем, которое стало в его теле всем, поймал он замах казака и тотчас же ширнул клинком навстречу – над конской головой, вполоборота, дугою под вздетый локоть, как учили, – и туго дрогнула до самых пальцев шашка, напоровшись на что-то ни живое, ни мертвое.

Не в силах задержаться, проскочил, вонзаясь в чащобу летящих навстречу чужих – с такими же безумными, упорными, как у коней, смотрящими как будто сразу во все стороны глазами... набрал на бородатого, полуседого старика, который как за плугом шел, а не на смерть, – кинул мах из-за уха, руша страшный, казалось ему, безотбойный удар, – электрическим током стрельнуло в запястье, чуть не вырвало шашку из пальцев и не выбило кисть. Через миг он почувал тупой, сокрушительно садкий удар там, где череп садится на шею, и даже будто потерял сознание от боли.

Покачнулся в седле, распрямился и увидел опять молодого, как сам, казака, инстинктивно забрал правый повод и закрытым ударом встретил павшую наискось руку, словно гибкую ветку, лозу, что-то крепкое, как березовый луб... Тонкоусый казак сам отсек себе кисть вместе с шашкой, жалко, заячьи вскрикнул, по-детски зажмурил глаза, и отчаянно-неузнающе, в иступленном каком-то заклятии выпучил их на культу.

Сергей помертвел перед жутко-невинным обрубком, но тут высокий рыжий конь ударил грудью в бок Степана, и Северин, зажатый конскими боками, вмиг очутился в круговерти падающих лезвий, косматых папах, красных лент и серебряно-синих погон. Его оттирали, толкали, хватали за колени деревянными клещами, кусали Степана за плечи и шею ощеренными лошадиными зубами...

«Отбей правый бок!», «Отбей голову!» – визжал размноженный перед глазами Хан-Мурадов и, превратившись в Леденева, молниенными вспышками перекрестил двух казаков, на буреом пролете охлестнув Сергея горячим рассолом их крови.

Степан, заржав от боли, взвился на дыбы, но Леденев поймал его за повод, помогая осадить, и рванул за собою в бесстыдное бегство. Волнами утекали эскадроны Горской вспять, а следом, в снежном кипеве, катилась грохочущая лава казаков. И разбегом ручьев по окаченному из ведра половицам удлинялись ее крылья-фланги – сомкнуться на бригаде, раздавить, – и Сергей уже не понимал, как она, изогнувшись подковой, до сих пор не схватила всю Горскую, окружив, как река, разливаясь на два рукава, окружает утес.

Чужие лошади вытягивали шею, как на плаху, ощеривая плиты желтых, как будто уж и вправду людоедских зубов, их всадники уже кренились набок, изготовясь рубить, иные же вовсе свисали с летящих коней до земли, неведомо зачем, огромными нетопырями, и снова подымались в седлах, как фигурки в тире... И только различив хохочущую трескотню пулеметов и увидев на фланге бригады тачанки, Северин наконец догадался, в чем дело. Наматывая на колеса снежные крутящиеся вихри, три десятка упряжек неслись за бригадой борзыми, как две дуги летучего, невиданного вагенбурга, и подметали всеерным огнем испятнанную трупами, ископыченную целину, ширя площадь покоса, ничейной земли, не давая забрать уходящую Горскую в клещи.

– Комиссара держи! Упадет! – кричал кому-то Леденев.

Только тут Северин осознал, обратным зрением увидел, что леденевский ординарец, Жегаленок, держался неотрывно от него, Сергея, и, верно, не одну казачью шашку отвел от его головы...

А слитная струя казачьего правого фланга, не сбита даже отсечным пулеметным огнем, была уж впереди бегущих горцев и заворачивала вперерез. И вдруг эта кипящая папахами и гривами река как будто наломилась на такое же по силе поперечное течение: то из лощины, как из-под земли, во фланг ей выхлынули свежие полки – Донская, с Мерфельдом, бригада. То был кратчайший концентрический удар: донцы и повернувшие направо горцы устремились навстречу друг другу. Полки же левого белогвардейского крыла увидели перед собой блиновскую бригаду, а в спину им, так вольно разлившимся по целине, еще с утра, еще до света дышала та бригада призраков, что называлась Партизанской, – змеей заползшая в тыл белых по могильной темноте.

Сергей ликовал на скаку, увидев все лукавые кривые леденевого замысла... Но в голове его вдруг помутилось, и, ослабив поводья, он лег на луку, обхватил напотевшую конскую шею.

Скакавший рядом Жегаленок захватил Степана в повод и наметом повлек непонятно куда. И вот уже в бескрайней белой пустоте Сергей опустил с коня в подхватившие руки, и его уложили на снег.

– Ух и кровищи, мать божья! – смахнул Жегаленок папаху с его головы, распутал на шее башлык. – Счастье ваше, чудок зацепило, – прилепнул к затылку Сергея какую-то тряпку. – Ну, комиссар! И казака срубил в первом же бою, и свою кровь пролил... Пойдет у нас дело на лад, говорю! У, старый черт – кубыть, песок уж из него трусится, а ловок, падлюка! Тупяком секанул – зарубка вам будет на память, теперь уж не забудете: никак их нельзя за спиной оставлять, а ежели какой мимо проскочил целехонек, так шпоры коню что есть силы – тады уж по потылице вас не достанут, тоже и по спине.

Голова ощущалась непомерно огромной, все пухла, но как будто уже не от боли, а от не помещавшейся в ней невозможной, несбыточной яви всего этого дня... Поднявшись при помощи Мишки в седло, оглядывал с пригорка всю равнину. То ли шесть, то ли восемь казачьих полков табунами метались в смыкавшихся красных клещах, шли вразнос, врассыпную, сбивались в слепые гурты... Опустевшие лошади, волоча и мотая убитых своих седоков по снегам, с безумным ржанием шарахались, сшибались... Ударившие с трех сторон бригады Леденева закручивали буревую карусель – казалось, что равнину перед валом сверлит тысяченогий, гикающий смерч, в земле разверзлась исполинская воронка, в которой исчезает, перемалываясь, мятущееся безголовье казаков...

А в это время с севера, из-за курганов, текли серошинельные колонны подоспевших красных пехотинцев. Валили бороды, деревни, фабрики, заводы завьюженно-седых, назябшихся, надорванных, идущих завоевывать счастливые века, и батальоны их развертывались в цепи, чтоб, квадратными дырами ртов изрыгая «ур-р-ааа!», по трупам вырубленных казаков бежать к высотам, людским прибором бить в крутую грудь «неприступного» вала, скрести его мерзлые склоны ногтями. Батареи же белых до последней минуты молчали, не могущие бить по своей атакующей, а теперь заклепленной, вырубаемой коннице, которая с такой самолюбивой глупостью пошла на Леденева из-за вала.

Еще не взятый штурмом в лоб, Персияновский вал был уже обречен: изрубив и погнав казаков, леденевцы хлестнули в огиб высоты и уже растекались за гребнем, в незримых тылах.

На севере, за развернувшимися к штурму красноармейскими цепями, все тяжелее, все плотней пульсировала канонада, и теперь уж по самому гребню высот вымахивали взапуски колючие столбы черно-белых разрывов.

Сергей с Жегаленком пустили коней и куцом наметом поехали к валу, перегоняя цепи красных пехотинцев, идущих не кланяясь, как на параде. Две первые пехотные волны уже

осели черной сыпью на белом склоне высоты – должно быть, занимающие гребень пластуны, боясь окружения, схлынули с вала, бросая окопы, орудия, все...

Сергей увидел танки – тех самых слепых «троглодитов», «трухлявые пни», о которых кричал перед Горской. Леденевцы секли их, как сказочные змееборцы порожденных землею чудовищ, сигали с седел на высокие их скаты, плясали в полный рост на плоских башнях, клинками шуровали в люках, остервенело выковыривая из железных недр потроха экипажей.

Необозримое пространство степи горячечно бредило криками, стонами, призывным ржанием пытавшихся подняться лошадей. Теперь уже не два, а три господствующих цвета было в мире. Вся снежная равнина пропитана, испятнана, окроплена, исчервоточена, затоптана красным.

Кровь плавил снег, смерзалась, цвела на снегу какими-то павлиньими разводьями от черно-багрового до едва различимого розового, тянулась круговинами, проталинами, краснела в каждом гнездоватом следе конского копыта. Бесконечными стежками, россыпью, кучами – трупы. Лошадиные и человеческие. Красноармейские и белые. С разрубленными головами, с расклиненными наискось грудями. С оскаленными челюстями и полубеневшими глазами, то с оловянно-синими, то с гипсовыми лицами, в последнем изумленье запрокинутыми к небу. С замерзшим выражением растерянности и потерянности, доверчивой уступчивости тому необратимому, что с ними сделалось, – эти были противнее тех, на которых застыло, казалось, последнее усилие сопротивления, как будто выражавшаяся в лицах жалкая покорность приняла их смерть, как будто и жизнь их была пуста и зазря, раз они так покладисто с нею расстались. Живые, они были так податливы и пуле, и клинку, и страху, и злобе, что, даже мертвые, не верили в несговорчивость смерти.

Сергей ехал снежной дорогой, мясными рядами, грядами убитых коней, которых будут свежевать и рвать на части, варить в котлах и жарить на кострах оголодавшие бойцы 23-й стрелковой дивизии и бригады Фабрициуса... Дорога эта не кончалась. За высотами – мертвые, сплошь беляки, и над ними торжественно-медленное, будто уж погребальное шествие Горской бригады.

Сергей увидел Леденева: тот ехал равниной убитых, в пространстве своего творения, казалось, уже ни для чьих глаз не предназначенного совершенства – безрадостный и никому не нужный, как последний царь земли. Сергей не отрывался от него: тот двигался так, словно ему было назначено разделять мир, лежащий у него на пути, на то, чего быть не должно, и то, что годится для будущей жизни, но за спиной его пока что оставались лишь руины и того, и другого.

Он был один – и Северин, остерегаясь подступиться, ехал следом на расстоянии примерно двадцати саженей... Вдруг в уши шилом впился чей-то вскрик.

– Стой, погоди, – сказал он Жегаленку, сворачивая к неглубокой, узкой падине.

С полдюжины горцев владетельно высились над сбыченным гуртом полураздетых пленных казаков, толкали их конями, замахивались плетками, а кто-то невидимый продолжал кричать взрывами, с усталыми подхрипами зарезанной свиньи.

Спустившись, Северин увидел: какой-то горец, сев верхом, зажав ногами голову поваленного навзничь человека, что-то делает с ним, с головой... и с такой же обыденной простотой и естественностью, с какою режут каравай.

– Сто-о-ой!.. – закричал Сергей, пустив коня и весь колотясь от неверия. – Стой, сволочь! Не трожь!..

Как бы весь перейдя в свою жертву, силой какой-то заведенной в нем пружины боец продолжал отрывать надрезанный скальп, тяня за черный чуб и заливая кровью глаза казака... Не зная, что делать – убить? – Сергей обломился с коня и, запутавшись в полах шинели, упал на колени, подполз и вцепился в железные плечи, рванул...

– Халзанов! Халза-а-анов!.. – раздирающе крикнул под ножом человек... и боец, выгибаясь дугой и скребя снег ногами, как-то разом обмяк, надорвался во всех своих жилах, опустившись на Северина, – не очнувшись от дикого своего помрачения, нет, а как будто истратив завод до конца, что-то главное вырвав из жертвы...

– Ты што?! – спорхнув с коня, вцепился в горца Жегаленок. – На кого?! Комиссара не видишь?! А ну!.. – отодрал от Сергея бойца, отпихнул...

Северин, задыхаясь от мерзости, сел на снегу.

– Ты што это, сволочь?! Зверюга!.. – Он хотел притянуть к себе этот немигающий взгляд, заглянуть помраченному в душу, в нутро, отразиться вот в этих глазах, взгляд которых проходил сквозь него.

– Отвечай! – заорал Жегаленок. – Чего вытворяешь, резак? Тебе десяток беляков прибрать, а ты вон каку казнь учинил. Живого режешь, будто мясу на базаре. Да ты знаешь, чудак, чего у нас с такими делают, потому как комкор приказал? Знаешь, я тебя стукнуть хучь зараз могу за такую насмешку?

Горец медленно поднял на Сергея глаза – как впаял. Упорные в неизживаемой, изверившейся ненависти – боли.

– Не для потехи я.

– А зачем?! – как задушенный, хрипнул Сергей.

– Узнал я его, – чуть повел головою боец на пресмыкавшегося рядом казака, который собирался в ком, подтягивая ноги к животу и стиснув руками кроваво-скобленную голову.

– Кого узнал? Кто он?

– Слободских моих в землю живыми закапывал. В Большой Орловке, не слышали? Рубанул он меня, думал – кончился. А я, вишь, оживел, вернулся за ним с того света. Семью мою убили, жену занасиловали, Алешке, сыну, голову свернули – совсем еще был воробей, – не дрогнул голос человека, как будто читавшего вслух про чужую судьбу, и Северин узнал его: то был один из добровольцев, прибывших к обозу Болдырева под Лихой, – будто немой, неразговорчивый мужик, седой, как волк, и кряжистый, с грубовато-красивым лицом и широко посаженными карими глазами. Да-да, Монахов, он...

– Ну так и судить его! На то и есть Ревтрибунал! Да и убил бы! Зарубил! – закричал безголосо Сергей. – А так-то – зачем?.. Зачем – как они нас?!.. – и тотчас осознал бессмысленность вопроса, нелепого в монаховских глазах.

– Мне их всех надо знать, – ответил Монахов неживо. – Кто командовал ими, кто детишков давить приказал. Кубыть, и другие из них по земле еще ходят, баб любят своих, матерей, на небо красуются, солнышку радуются, еще убивают – чужих-то детей. Вот и пришлось его пощекотать. Уж тут как хотите судите – с кишками всю правду бы вымотал.

– И что же, узнал? – спросил Жегаленок сочувственно.

– Так точно, – ответил Монахов, смотря сквозь Сергея. – Халзанов, сотник, – не слышал? Он ими командовал. Да хорунжий Ведерников, – повторял как заклятие – самому не забыть.

Что-то щекотно клюнуло Сергея в темя: Халзанов, Халзанов... где ж ему попадалась вот эта фамилия? Да точно же, Халзанов – леденевский комиссар. Воззвания, статьи, стихи для народа. «И все казакі удалые погибнут здесь среди снегов, истлеют кости молодые без погребенья и гробов...» А тут другой Халзанов – враг. Однофамилец?

– Послушайте все! – поднялся он, надсаживая голос. – Таким палачам, карателям, выродам пощады не будет. Один приговор будет – смерть! Но пленных вот так... Они хуже диких зверей, но вы-то бойцы Красной армии. И если ты, красный боец, свой человеческий облик, душу потерял, тогда тебя же первого!.. Сам лично...

VIII

Сентябрь 1919-го, Камышин

В больших амбарах разоренной хлебной ссыпки теснилось свыше тысячи полуголодных, оборванных, завшивленных людей, в которых по лампасам на грязных шароварах можно было узнать казаков.

То были пленные, которые не так давно и с разной степенью усердия (кто поневоле, кто с остервенением) сражались против красных в составе Донской белой армии, в частях генералов Мамантова, Голубинцева, Секретева, Быкадорова, Фицхелаурова, и каждый из них теперь ждал решения своей судьбы: расстрела ли, отправки ли на каторгу, а может, и помилования – в обмен на покаяние и клятву искупить свою вину в рядах той самой красной гвардии, против которой воевали. В последнее верили меньше всего – то есть одни почти не верили, другие же не допускали для себя перехода на сторону тех, кого ненавидели нерассуждающей ненавистью. Ждали худшего – смерти, или сразу, от пули, или в долгих мучениях, от непосильного труда, от голода, от той ничем не исцеляемой болезни, что зовется «безысходностью» или, проще, «неволей».

Да, они были крепки, жадны к жизни, как цепкая молодая трава. Почти никто из них не захотел покончить с мукой нескончаемого ожидания, никто не мог остановить в себе придавленное страхом и тоскою сердце, как это делают иные травоядные, попавшиеся в лапы хищников, и если кто и умирал, то делал это только поневоле – так же, как и рождаются люди на свет, не ведая и не гадая, что ждет их на этой земле. Умирали от тифа, от чахотки, от ран. Умирать от тоски было рано, но давящая эта тоска уж достигла той тяжести, когда одни темно и вяло начинают помышлять о смерти как о освобождении, другие же, напротив, почти уже готовы поддаться на любое обещание пощады и свободы – ухватиться за самое дикое, подлое средство спасения, как утопающий в болоте хватается за вожжи, которыми его еще вчера пороли, а то и за приклад, которым размозжили голову его родному брату.

Офицеров среди них – в чине выше хорунжего – не было, зато чуть ли не половина была мобилизована в Донскую армию приказом войскового атамана и воевала против красных лишь под страхом трибунала. Хватало и тех, кого пихнуло к белым озлобление на большевистские станичные ревкомы, вершившие над казаками неправые суды и грабительские конфискации, отбирая весь хлеб и лишая всего нажитого.

Когда слышался грохот подъезжающей кухни, казаки оживали на своих лежаках из соломы, и вот в один из тех погожих сентябрьских дней, когда один блеск солнца в синеве внушает человеку и надежду, и физическую жажду жить, снаружи послышался не топот копыт, а рокот многосильного автомобильного мотора, и часовые закричали выходить и строиться.

Казаки разлились по широкой поляне, которая была обнесена колючей проволокой на наспех врытых в землю стояках. Из подкатившего автомобиля вышли двое комиссаров в коже, а вслед за ними – рослый, в накинута шинели человек, чья выбритая голова издалека казалась голым черепом с нетленными глазами, и мертвой стынью опалило отпрянувшие лица казаков. По стиснутой плечом к плечу толпе, по ее позвоночным столбам пробежал электрический ток, поднял шепот и гул по рядам:

– Мать честная! Царица небесная! Братцы, гляньте! Ей-бо, Леденев! Из земли вышел, зверь! Не убили! Воскрес!..

– Мало нашего брата порезал!.. Из чего ж его Бог бережет?! Коли так, стал быть, верно Господь отступился от нас, казаков...

– Мели, балабон! Видал ты его?!

– Да как зараз тебя! Под Романовской-то! Привел Господь увидеть – смерть в глазах!.. Гляделки разуй, точно он!

– Не рубает он пленных. Офицерьев, так тех без разговоров! А простых отпускает! Хлебороб – так иди восвояси.

– Ну держи карман шире – сейчас он тебя и помилует!..

И замолкли все разом – подступил к ним в упор зверь из бездны, посмотрел ровным взглядом, заключающим всех в одно целое и в то же время зрящим в душу одному тебе, и никуда было не деться от этого взгляда: всяк пятился и упирался в самого себя, желающего жить.

– Здорово, казаки. Угадали меня? Ну так слушайте. Крепко бились мы с вами, столько крови меж нами легло – будто нету уж брода друг к дружке. Не осталось, должно быть, ни в красных, ни в белых такого, у которого бы никого из родни не убили. Как тут счет подвести нашим общим обидам? Не попадись вы в плен – так и дальше бы с нами секлись, разговоров бы не было. Однако же стоите вы перед мной, и, поди, все одно помирать никому неохота. Сразу не расстреляли вас – оттого и надежда где-то в самой середке хоронится: может быть, простит мне Советская власть, что в белых я был. А ежели и вправду простит? Да только скажет вам: воюйте за меня? Рубите беляков, как прежде красных, и даже еще злее, всю кровь свою отдайте за меня. А не пойдете – так и помирайте: или к стенке поставят, или сами подохнете с арестантской тоски. И что же вы на это скажете? Не может быть такого, чтоб казак пошел на своих братьев-казаков? Лучше уж помереть, чем с такими врагами, как мы, заедино стоять? А за что помереть? Из-за чего вы с нами воевали? За свою, надо думать, хорошую жизнь? За землю, которую мы хотели у вас оттягать? А много ли средь вас таких, у кого той земли вдосталь было? Всем, что ли, при царе как у Христа за пазухой жилось? Разве нету средь вас бедняков-хлеборобов, какие всю жизнь казак на быка, а бык на казака работали, одной рукой пахали, а другою слезы утирали? Так за что ж воевали вы с нами? За чью землю? За чужую? За то, чтобы она и дальше помещиков кормила да ваших атаманов? А в Красной армии, что ж, мало казаков, таких же, как вы, горемычных? А есть среди вас и крепкие хозяева, которые от своего труда зажиточные, а не на батрацком горбу. Так что же, Советская власть у таких отбирает всю землю? И вовсе со свету сживает? Нет, это вы равняться не хотели, от сытого рта кусок отрывать и отдавать его голодному, как, между прочим, Бог Христос велел, а богачи его за это и распяли. А вот явился бы он зараз к вам, сошел бы на землю да и провозгласил бы то же самое за трудовое человечество: «делитесь» – так и камнями бы побили, а? Не так? Ить он, Иисус, нынче с нами под красным знаменем идет, да только вы, слепые, этого не видите. Ну а ежели б взяли вы верх, сохранили б наделы свои и добро, дальше что? По старинке пошло бы? Батрак в хомуте, а богач погоняет? Вы сытые, а подле вас бедняк, такой же хлебороб, голодные слюни на ваше довольство пускает да злобой исходит на вас? Неужто опять он, бедняк, не взбунтуется – с такою-то злобой, какая ему сердце точит, кровь пьет? А не он, так сыны его, внуки? И снова пойдет брат на брата? И опять конец мира, опять реки крови? То-то вот и выходит, что пока не прикончим неравенство, не будет промежду людей ни ладу, ни вечного мира. Так, может, коней повернуть и бить вместе с нами помещиков и генералов? А то стоите вы перед мной, и никто уж не чает до мира дожить, да и до завтрашнего дня. А земля, за которую бились, пустая стоит, и бабы ваши хрип в работе гнут, а детишки уже и забыли, когда были сытыми. Ну вот и судите: воротиться вам к ним или тут помирать, как бездомным собакам. Я зараз зову вас в ряды Красной армии. К себе под начало. Идите за мной, и я дам вам волю.

– Что ж, стал быть, к силе прислониться, а веру продать? – сипло выкрикнул кто-то из толпы казаков, как только Леденев умолк. – Братов своих продать?

– А всю войну кого рубил? Не братьев? – ответил Леденев. – Я, брат, земляков своих, как волк зарезал и знал, кого жизни лишаю, и ты то же самое. Такая война. Одна теперь правда

осталась у каждого – идти за тем, кто жизнь тебе дает и волю. За генералами пошел – и где ты теперь? В загоне, как скот, смерти ждешь? А вот он я, перед тобой – живой и в твоей жизни вольный. А почему так вышло? Вояка из тебя никудышный? Или вас дураки ведут – генералы-то ваши? Ить нет. Деникин, однако ж, Москвой не потрянул и теперь-то уже до нее вряд дойдет. А потому что, брат, не сила главное, а дело, за какое в бой идешь. Наша правда, как видишь, и мертвых из земли подымает. Меня-то вы уже похоронили. Вот и дальше – того будет верх, кто себя будет меньше жалеть. А вы себя жалеете. Что ж, вы насмерть стояли? Нет, драпали. И дальше побежите. Деникин ваш, Сидорин побегут, потому как воюют они за себя, за хорошую жизнь, какая у них при царе была. А мы – за счастливую долю для всех, за это нам и жизнь отдать не жалко. Кинут вас на убой генералы и сбегут на туретчину. Плевать им на родные ваши курени. Нет за ними ни правды, ни жизни. Либо за мной сейчас пойдете и тогда, может, будете живы, к земле своей вернетесь, либо уж пропадайте в чужой стороне, баб своих повдуйте, детей своих покиньте на вечное сиротство. Один раз говорю: идите за мной и деритесь за них, за баб, за потомство. На размышление даю вам сутки, а кто уж и зараз согласен, два шага из строя.

Толпа зашевелилась с вязким гулом, заколыхалась, забурила, как будто переваривая, перемалывая леденевские слова – обвалившись, как глыбы с подмытого берега в реку, они раздробили единую, неприступно молчащую массу и, продолжая перекатываться, начали расталкивать людей по сторонам.

Выходили из строя – поврозь и десятками, и вот перед незыблемо стоящим Леденевым остался лишь один, широкоплечий, с русым чубом и светло-синими глазами чуть навывкате, казак. Вокруг него рос островок, все мощней омываемый ручьями уходящих к Леденеву казаков.

– Ну а ты что стоишь? – спросил Леденев, остановив на нем все тот же взгляд.

– А мне-то куда? – отозвался казак, смотревший на него не с ужасом или надеждой, не с ненавистью или обожанием, а будто бы глазами обезумевшего или слабоумного, с какой-то уж юродской прямоотой, когда непонятно: то ли облобызает сейчас, то ли, наоборот, оплюет. – Убьешь ить, не иначе.

– Зачем же? Иди. Авось и доберешься до Гремучего живой и невредимый.

– И до Багаевской? – исказилось лицо казака, выражая не то омерзение, не то жалость к тому, кто держал его жизнь, как примятый лопух под ногой.

– И до Багаевской.

– Ну а приду – чего ж, сестре поклон передавать?

– Так и сам приду – веришь?

– Да как не поверить, когда ты из мертвых воскрес? Ну а придешь – что ж, Дарью замуж позовешь?

– Там видно будет. Даст Бог, и Грипка возвратится к родным нашим местам, когда белых прогоним. Или что же, покончена жизнь?

– Да как же это? Ить каратель я. Сроду мне не простится такое. Неужели забыл? Как с Матвейкой-то, зятем моим, погуляли по нашим местам? Как подворье спалили... твое? Как жену?..

– Не ты это сделал – уж мне ли не знать?

– Не я, да которые с нами, – мучительно ощерился казак.

– Что, совесть убивает?

– Совесть не совесть, а будто бы хворый я зараз душой, навроде помраченный. Смотрю на тебя – и не верю. Уж такая охота берет – покаяться при всем честном народе. Показать все как есть. Или что, один Бог правду видит, да и то не скоро скажет? Никого уж в живых не осталось, кто Гришку Колычева помнит да зятя его, Матвейку Халзанова? Никто в лицо не угадает? А главное, ты – неужто забыл? Может быть такое?

– А нынче уж вся наша жизнь и есть то самое, чего не может быть, – усмехнулся Леденев глазами. – Так что хочешь – живи, а хочешь – помирай. – И, повернувшись, двинулся к автомобилю.

– А я вот все помню, – сказал ему в спину казак, но Леденев его уже не слышал.

IX

Январь 1920-го, Хотунок – Новочеркасск

В обложной пустоте неживого, ослепшего неба, затянутого тучами, как одно исполинское око бельмом, вдруг проблеснуло, засияло взошедшее в зенит холодное, бесстрастно-торжествующее солнце. Посмотрело на снежную, перерытую взрывами, закопченно-кровавую землю, на тысячи убитых, рассыпанных по ней, и тысячи живых, все продолжающих друг друга убивать.

Стольный град Всевеликого Войска Донского стало видно уже без бинокля: вон он, за колеями железнодорожных путей, за бездымными трубами фабрик и серыми казармами рабочей слободы – простерся, вознес над собою самим пирамиды граненых, сквозных колоколен. Туда, в рабочие предместья, в нагие черные сады окраин укатывались схлынувшие с Персияновского вала пластуны, расчеты батарей и экипажи бронепоездов, кидая на валу и по дороге все: колющие сети, рогатки, запряжки, тяжелые гаубицы, умолкнувшие пулеметы и сами бронепоезда, стальными бронтозаврами издохшие на взорванных путях.

Туда, вслед за ними, безудержно катились эскадроны Партизанской, которая первой вломилась в тылы, еще не надсадилась в скачке, в рубке и почти не имела потерь. И вот уже забили вдоль Тузловки орудия двух корпусных дивизионов, кроя насыпь, сады облачками шрапнельных разрывов.

Сергей никак не мог себя нащупать, стать слышным самому себе. Сбылось то прекрасное, яростное, о чем он так долго мечтал, – лицом к лицу сойтись с врагом и выпустить душу, как будто и впрямь обрета какую-то новую сущность, в тот миг, когда шашка войдет в податливую мягкость человеческого тела, в нутро непримиримого врага, который примет твою правду только мертвым, который должен умереть как дерево в глухой, неприступной чащобе – упасть и открыть людям больше небесного света.

Сбылось со страшной силой, но не так, как виделось. Как только он крикнул «Да помогите же ему!..», вот этот Монахов молча вытащил шашку и вогнал ее в глотку своего недорезанного казака. Пригвоздил его голову к снежной земле, выбив зубы, и Сергей захлебнулся словами, ощущая, как лезвие разрезает язык. Из распятого рта хлынул алый пузырчатый ключ, в два ручья пал на землю, протянувшись по снегу усами... одна нога согнулась и выпрямилась в судороге, пропахивая в снежном крошечке глубокую, до земли борозду.

Сергей не мог сказать ни слова, наконец сделал шаг, взял Монахова за воротник и мучительно хрипнул:

– Ты-и-и... ты-и-и-и... арестован, Монахов... Оружие сдать.

– Воля ваша, – ответил вдовец-бессыновщина каменным голосом. – Ведите в трибунал, а лучше к Леденеву. Кубыть, он на меня посмотрит через нашу несчастную жизнь.

Сергей, забрав его с собой, поехал разыскивать штаб. Как судить этого человека, он не знал.

– И много ты их, брат, уже прибрал? Ну, своих палачей? – допрашивал Монахова сочувствующе-любопытный Жегаленок и, видя, что тот запаялся в себе, ковырнул: – А я ить слышал про него, Халзанова-то этого.

– Видал его? Знаешь? – оживился Монахов, будто и не висел над ним суд трибунала.

– Да как сказать? Издали да в малолетстве... Кубыть, из багаевских он, сосед наш с Романом Семенычем. А брат его старший, Халзанов Мирон, у нас комиссаром – это ишо когда Роман Семеныч в родимом нашем хуторе Гремучем Советскую власть подымал. Это нынче

нас, видишь, великие тыщи, а тогда только жменя была. С чего непобедимая дивизия-то наша началась? А с нас, гремучинцев да веселовцев. А зараз уж Первая Конная. Ты думаешь, кто я таков? А самый тот первый проходец и есть.

– Халзанов что, Халзанов...

– Ну так тебе и говорят. Уж он-то был всем комиссарам комиссар, другого и не надо, простите уж, товарищ военком. Всем взял: и с шашкой, и в стратегии, а уж какие речи сказывал – ажник сердце слезьми обливалось за нужду трудового народа, и босые, как есть, шли мы в бой... Ну так я и гутарю: он-то, Мирон Нестратыч, хучь и офицер, а наш насквозь, красный, а брат его, Матвей, совсем даже наоборот, до кадетов подался. Как революция разыгралась, казаки-то на Маныче попервой ишо смирно сидели, воевать не хотели, сам знаешь. Одни офицера и выступали да самые что ни на есть от чужого труда богатеи. Вот и энтот Халзанов Матвей, комиссара-то нашего брат, самый первый пошел с атаманом Поповым. Багаевской дружиной заворачивал, по нашим хуторам гулял, расправы наводил. Он-то самый Романа Семеныча батю спалил, ну подворье-то их, Леденевых, в Гремучем у нас. Сам не видал, да слухом пользуюсь. Лихой он казак, Халзанов-то этот. А там, может быть, и до вас, орловцев, дорвался. Что же, мы не слышали, как землицей-то вас казаки наделяли?

– Должно быть, так, – сказал Монахов. – А признаешь его, если встретишь?

– Кубыть, и сходились в бою, и не раз, а вот чтобы признать... Так иной раз глядишь: и знакомое будто лицо, а вот кто по фамилии... Он, не он, не скажу.

– Да как же это? Вашего ведь юрта.

– Да ну и что, что нашего? Он за все время до войны у нас на хуторе и трех разов не гостевал, да я мальцом в ту пору был. Ты вот что, Монахов, ежли тебя теперича не шлепнут, потому как дурак ты, отыщи в нашем войске Григория Колычева. Он-то и есть того Халзанова шурик. Тоже в белых был раньше, а теперь вместе с нами воюет, разведкой командует – помиловал его Роман Семеныч с потрохами, потому как опять-таки наш хуторной. А еще по причине одной, о какой тебе знать не положено. Вот его-то, Григория, и спроси про зятя – может, знает, чего: тот Халзанов, не тот.

– То есть как это помиловал? – встряхнулся Северин, хотя перед глазами тотчас встало начертание на огромном кумачном полотнище: «ОБМАНУТЫМ КАЗАКАМ – ЧЕСТНЫМ ТРУЖЕНИКАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ!»

– Советская власть то есть простила, – поправился Мишка. – У нас их, таких казаков... Бьют белую сволочь, как, скажи, вместе с нами всю жизнь за народ воевали, и всех Роман Семеныч в нашу веру обратил. Из плена достал, глаза им открыл... Куда ж его девать-то, товарищ комиссар? – кивнул на Монахова. – Глядите, наши город забирают – вовсе не до него.

– Не бойтесь, не сбегу, – сказал Монахов. – Как у меня была одна дорога, так и есть.

Чугунные цилиндры паровозов, проклепанные башни «Ильи Муромца» с черно зияющими прорезями пулеметных бойниц, затиснутые в серую броню площадки, нескончаемые вереницы товарных вагонов, застывших на путях и опрокинутых, как детские кубики, обрушенные пирамиды ящиков, тюков, орудия с разбитыми боевыми осями и укатившимся под откос колесами, заглохшие грузовики, глазастые «паккарды», «форды», похожие на сломанные и разбросанные всюду игрушки барчуков. Пророками Судного дня танцующие над пакгаузами оранжево-черные чудища, рукастые циклопы, полотнища, валы мазутного дыма и пламени. Патронные двуколки, санитарные линейки с поленицами раненых и трупов, чьи приоткрытые оскаленные рты застыли в немом крике, обращенном к череде лениво проезжавших мимо леденевцев.

В захлестнутом без боя хуторе, где, словно в пожаре, трещали и лопались ставни, ворота, гремели в колодезных недрах цепные бадьи, Сергей нашел штаб. Бойцы штабного эскадрона окружили массивное краснокирпичное здание с невысокой квадратной трубой. Северин протолкался под крышу и не увидел никого, и не услышал ничего, и даже как бы не почувствовал

тепла натопленного цеха: в раздувшиеся ноздри, прямо в мозг ударил запах хлеба – поджаренной житной муки, горелого постного масла и всхожего теста.

Штабные, краскомы, бойцы сидели на каменно твердых чувалах с мукой и рвали пальцами огромные, как мельничные жернова, коричнево-смуглые круглые хлебины. Запихивали кляпами, глотали со слезами, раздумчиво, сосредоточенно жевали, как будто силясь вспомнить самое простое – невыразимый вкус горячего, из печи вынутого хлеба. Воистину были глухи и немые, в глазах – отрешение ото всего. Челищев, Мерфельд, Носов забрали по краюхе, и даже Леденев, сидевший за прилавком, как хозяин, отщипывал теплую мякоть от начатого каравая и ел.

– Одной бригадой заберу, – говорил ему с вызовом стройный, сухощавый краском в ало-верхой кубанке и синей черкеске с серебряными газырями.

– Делай, – сказал Леденев, размеренно жуя и глядя сквозь него.

– Нет связи ни с Буденным, ни со штабом Восьмой, – сказал осторожный Челищев. – Не зная положенья под Ростовом...

– Ну какое теперь может быть положение у их превосходительств, – ответил Леденев. – Забрали мы их нынче в копытные щипцы на выступе у Генеральского моста. Мамантову и Топоркову от Буденного оторваться и рысью на Аксайскую во избежание мешка и леденевских орд на правом фланге и в тылу, – как будто читал шифрограмму из ставки белого главнокомандования. – Иди, Гамза, за славой. Теперь ее, пожалуй, и баран добудет.

«Так вот он какой, Гамза», – вгляделся Северин в лобастое, с горбатым носом и квадратной челюстью лицо, в посаженные близко к носу острые глаза под навесом стекающих книзу бровей.

Леденевский завистник исподлбья ударил комкора ножевым взблеском взгляда, повернулся на месте и вышел, торопясь доказать, что он – сила.

– Садись, комиссар, бери завоеванное, – позвал Сергея Леденев, ни выражая взглядом ничего. – Расскажи, чего видел.

– Много разного видел, в том числе и паскудное. Но сейчас, полагаю, не время об этом.

– А ты как петух – сразу бьешь по зерну. Вплынь по крови идем – где уж тут протрезветь? Ведь красота, а, комиссар? Или ты ее, может, иначе себе представлял, а теперь подвергаешь сомнению? Так и есть: вскачь идешь – красота, а привстанешь – паскудство. Без нее, может, а? Уж тогда и паскудства не будет – от такой красоты. Да только и самой ее не будет. Молодые любят воевать. К чему мальчонка тянется больше всего на свете? И уж такой он в измальстве слухменный да желанный, а все одно на палку сядет и поскачет верхом: «Шашки вон! Пики к бою! Шпоры в бок коню, ура!» В войну уже играет. Работа – это разве доблесть? А игра... Еще и не родился, а в самом материнском пузе знает, на что веселее всего в орлянку играть.

«Он как-то по-своему прав, да и не по-своему, а...» – подумал Сергей, почуяв в собственной крови необсуждаемую тягу, как будто бы наказ самой природы, данный человеку много раньше, чем сам он, Сергей, появился на свет, идущий откуда-то из-под земли, сквозь пласты мезозоя, юры, застывшей магмы, вулканического пепла – как шум, спрессованный из хруста разгрызаемых костей, урчанья хищников и визга жертв, как ветер, господствующий на пустынных пространствах Гондваны в те эры, когда еще не было слов и каждое живое существо могло жить лишь ценой уничтожения другого.

Рука же его в это время сама потянулась к пододвинутому караваю, рот сам собой наполнился слюной, и ни с чем не сравнимый вкус теплого хлеба, одуряюще острый его аромат подчинил себе все северинские чувства, и ненужно уже удивляли вопросы, потому что вот эта краюха, ее вкус, ее запах и были ответом на все.

Все вокруг него жило на честности неумолимых первородных причин: и этот вот таинственно безрадостный, всесильный человек, и все вокруг него штабные и бойцы, и рыжие их кони, и Мишка Жегаленок, и даже Николай Монахов, убивший безоружного за сына и жену.

Минут через десять он вышел вслед за Леденевым из пекарни и, поднявшись в седло, шагом двинулся вместе со штабом к последнему увалу перед городом. Ничего любопытного в происходящем для комкора уж не было.

– Комбригу-один продвигаться к Вокзальному спуску, закрепить на южной окраине и рвать мосты через Аксай и Институтский... – диктовал на ходу Леденев.

В три часа пополудни Партизанская вхлынула в Новочеркасск. А перед сумерками в город вступил и полевой штаб корпуса. Несметные копыта гулко цокотали по мерзлым мостовым – казалось, клекочущий горный ручей ворочает, толкает, несет вниз по обрыву множество камней, глуша этим шорохом, цокотом далекие взрывы стрельбы.

Шинельные трупы зарубленных бросались в глаза уж не больше, чем тени фонарных столбов, афишные тумбы, деревья, побросанные чемоданы с распяленными пастями и вылезшими языками перевитого тряпья.

По четверо в ряд леденевцы текли по Ермаковскому проспекту, наполненному треском разлетавшегося дерева и звоном осыпавшегося с верхних этажей стекла. Над вымощенной площадью, над головами кружила шелестящая бумажная пурга: газетные листки, воззвания, приказы слетались на землю, как птицы на корм, цеплялись за ветки деревьев и копыта оград, обклеивали мостовую объявлениями, которые трепал разбойный ветер.

Сергею кинулись в глаза знакомый портрет на обложке и крупные буквы «Донская волна». Угрюмо-неприступное лицо гранитного служаки – генерала Расстегаева, «*воздя казаков станицы Суворовской*», застывшего с заложенными за спину руками, как будто отдавая и себя, и всех своих восставших казаков на гибель за Россию, которой уж нет и не будет.

Подъехав, Сергей снял журнал с чугунной решетки. Такой же точно номер был в деле Леденева, которое он изучал в ЧК. Журнал воспевал военную доблесть и гений белогвардейских генералов и казачьих офицеров, пестрел их фотографиями в парадных кителях, был наполнен крикливыми сводками красноармейских потерь, беллетризованными репортажами и стихами самих офицеров, каких-то жертвенно-восторженных студентов, юнкеров, гимназисток, курсисток. «*Миром, дружными усилиями мы поможем грядущему Гомеру написать "Войну и мир" на Дону...*» Но была в этом номере и большая статья о враге – Леденеве. «*Далеко не заурядная личность, один из немногих самородных талантов, вышедших из среды простого народа, но, к глубокому сожалению, приложивших свои силы не к созиданию народного величия, а к его разрушению*». Написал это будто бы белый шпион, перебежчик Носович, проникший в штаб Южфронта в 18-м году.

Зачем-то сунул номер под шинель, будто надеялся прочесть о Леденеве что-то новое и важное, будто эта статья была еще не расшифрованным посланием и предстояло отыскать к ней ключ.

Под несметью строчащих копыт поломоечной тряпкою лип к мостовой, напиваясь талой грязью сброшенный на землю сине-желто-красный флаг. Лишь один войсковой кафедральный собор, берегущий казацкую славу, оставался незыблем, но и он уж казался пустым, продувным – сквозь него шел стрекочущий, звончатый ток равнодушно-усталых, победительных красных полков, и бронзовый Ермак протягивал корону Леденеву.

Под гулками сводами храма стучали каблуки окованных сапог, гремела низвергаемая утварь и, как на колке дров, стреляло дерево – бойцы опрокидывали аналои, крушили ковчеги с мощами страстотерпцев и праведников, тащили золоченые потиры, дароносицы, лампы, раздирали парчовые ризы, ломались в царские врата и тайну тайн. «Ну а как, если поп здесь столетиями одурачивал темный народ, торговал божьим страхом и брал отпевальные взятки? – сказал себе Сергей и поглядел на Леденева, как будто бы сверяя свои мысли по нему. – Смирению учили: терпите, покоряйтесь – все от Бога: нужда, угнетение, смерть. Ну вот и получите – устал народ терпеть». Но все равно подкатывало к горлу: ломали красоту – народом, между прочим, и построенную.

– Эй, кто тут? – позвал Леденев, и тотчас подались к нему, угнувшись, вестовые. – Торговцев вот этих из храма изгнать – пушай старик на небесах порадует. Полковым комиссарам довести до людей: за бараклом не бегать. Эскадронным и взводным – расстрел.

«Вот тебе и город на разграбление», – изумился Сергей.

– Ну а ты что стоишь, комиссар? – посмотрел на него Леденев. – Красоту ведь поганят, не так? Ставь порядок. Сделай так, чтоб все видели: Бога нет, а ты есть.

Сергей повернулся к паперти и, спешившись, толкнулся на крыльцо, под высокие своды притвора, в метания монгольских воинов, огней, кидающих рыжие отблески на темные лики святых. В лицо ему дохнуло стынью векового камня, душистым тленом, ладаном, известкой, угарным чадом множества погашенных свечей. Ругаясь в бога мать, святителей, крестителей, штабные эскадронцы плетями и прикладами изгоняли грабителей из алтаря – те бросали тяжелые комья парчи и в лепешки топтали высокие толстые свечи.

– А ну кончай грабировку, в кровь Иисуса! – надсаживался Жегаленок, вознося сиплый рев к серафимам, в подкупольную высь, до каменного неба, направо и налево благословляя плетью грешников. – Бога нет, а комкор не помирует!..

Все делалось само – Сергей был не нужен. Толкнулся назад, на свободу, вскочил в седло и, выпросив у ближних, куда повернул Леденев, поехал к атаманскому дворцу на Платовском проспекте.

Угрюмо-первобытно озаренный желтыми кострами двухэтажный дворец содрогался, гудел, сквозил проточной жизнью полевого штаба.

Чугунно-кружевная лестница, парадные портреты государей, войсковых атаманов, великих князей, огромные, в рост, зеркала. Связисты бешено вращали рукояти телефонов, тянули провода, возились с телеграфными машинами, распутывали ленты деникинских приказов.

– А ну подставляй посуду, ребята! – несло из соседних комнат. – Раньше атаманы пили, а зараз и нам довелось. Ладан с медом, святое причастие! – трещало разбиваемое дерево, гремели и бились бутылки, хлестало в котелки и растекалось языками по паркету похожее на кровь рубиновое драгоценное вино, росли у людей и бутылок кипучие пенные бороды.

– К погребам пулеметы, – услышал голос Леденева Северин. – Вина до утра не давать. Начсанкору час времени, чтоб не осталось ни одной подводы на дворе.

Сергея давила усталость, кружилась голова, подташнивало, и каждый сустав как свинцом был налит, но все вокруг делали дело, и он с исчезающе слабым стыдом самозванства подписал два приказа по корпусу и приказал себе заняться ранеными.

Поджидавший его у крыльца беспризорный Монахов молчаливо пошел за ним следом. Жегаленок и вовсе давно стал Сергеевой тенью, разве что чересчур разговорчивой:

– Да вы и сам, товарищ комиссар, такой же раненый. Вам бы зараз прилечь отдохнуть да поспедать чего. Буржуйские-то бабы аккурат к Рождеству наготовили всякого – вот бы и разговелись. На пустой-то живот и дите, поди, не убаюкаешь, а не то что победу ковать...

С Хотунка, с Персияновских страшных высот прибывали ползучие транспорты раненых; визг и ржанье хрипящих в насаде упряжных лошадей, скрип и скрежет обмерзлых колес, треск оглобель, тягучие стоны и женские крики сливались в какой-то вселенский вой-плач. Ранения были ужасны: разрубленные головы в заржавелых от крови бинтах, багрово стесанные лица, щеки, уши, култышки отхваченных рук, урубленные пальцы, обмотанные грязными тряпицами.

Лежащие вповалку на линейках, иные уже отдавались толчкам мостовой как дрова, безгласные, с замерзшими осками, с плаксиво приоткрытыми, нешевелиющимися ртами. Другие, полусидя, смотрели, как из мягких, бородатых, покрытых сукнами и шерстью казематов, раскаленных гробов. Над ними вились, копошились, безжизненно горбились сестры, держали забинтованные головы у себя на груди и коленях, настолько обессилив сами, словно только что выдавили из себя эту взрослую, ни живую, ни мертвую тяжесть.

Сергей впервые их увидел – женщин корпуса, тех самых, о которых говорил минувшей ночью Леденев, – и совершенно уж не удивился. Они спускали раненых с повозок, доволакивали до крыльца, подымали по лестницам и едва не обваливались вместе с ними на койку и на пол, передавали помогающим бойцам и брели, как слепые, со стекшими по швам, как будто потрошенными руками.

Сергей принял раненого и вместе с Жегаленком повел того к крыльцу. На обратном пути Мишка сзади облапил сестру:

– Позорюем, што ль, любушка?

– Ы-ых ты! – Сестра издала лишь протяжный измученный вздох, какой, должно быть, исторгает человек, перед тем как опять погрузиться под воду.

– А ну отпусти, твою мать! – взбесился Северин. – Не видишь – падает, а ты!.. Собаки и то знают время... Эх вы! – сказал для всех. – Вам ноги ей мыть.

Сестра, налитая, окатистая, с обветренным круглым лицом, о красоте которого нельзя было судить, взглянула на него тоскующе-недоуменными глазами мучимой коровы.

– Стреляла б таких, – сказала Сергею, освобождаясь от прихвата Жегаленка. – Да чем стрелять? ...? Да и того нет.

Сергей заволновался, ощущая на себе давление измученных, но все же любопытствующих взглядов, обвел глазами лица ближних и натолкнулся на одно – из-под пухового платка, по-бабьи обмотанного вокруг головы, взглянули на него отяжеленные печалью и полные живой воды прозрачно-серые глаза. В них таилось неведомо что: не то всепонимающая нежность, будто одна она и знает, как болит у тебя, не то, напротив, отрешенность ото всего происходящего вокруг, оцепенелая покорность, когда жизнь есть, а что ей с собой делать, она уже не знает и не хочет понимать.

Сергей запнулся, приковался было, но тут в серой смази людей, в стенающей толпе, в проулке, за воротами увидел вдруг другое, знакомое лицо и обмер: Аболин!

Не веря в то, чего быть не могло, Сергей толкнулся в улицу, распахивая встречных, – призрак Аболина тотчас канул в толпе и зачудился в каждом, понапрасну хватаемом за руку. Никого, даже близко... И ее, милосердную девушку, Северин потерял.

Обозлясь на себя и почувствовав подступающую дурноту, он присел у ограды, привалился к решетке. Померещилось? Спутал? Но такое лицо разве с чьим-нибудь спутаешь?

– Мишка, слышь? А что с тем офицером?

– С каким это?

– А какой на комкора вчера... я привел.

– А где ж ему быть? Под замком, – ответил Жегаленок удивленно. – Особый отдел, должно, занимается. А может, уже и прибрали.

– То есть как это прибрали?

– А чего рассусоливать? Это вона Монахов у нас через свое семейное несчастье по целому часу врага потрошит, а так-то чего?

– Но особенный враг ведь, особенный.

– Тю! Вы что же думаете, первый он такой, кто до Роман Семеныча с занозой добирается? Ить двести тыщ золотом Деникин отваливает за нашего любушку, живого или мертвого. Ну вот и пытаются, паскудники, счастья по-всякому. Рубаки самые что ни на есть из казаков до него дорывались, да кто супротив Леденева на шашках устоит? Да на нем, ежели хотите знать, ни единой царапины нет – ни один своей шашкой до тела его не достал, – уже неистово расхваливал комкора Мишка. – Ну вот и подбираются по-всякому. То из винта ссадить, подлюги, норовят – стрелки такие есть, что за версту без промаха нанижут, – то, вон как энтот офицер, ужалить норовят, тоже как и змея, с одного, стал быть, шагу дистанции. Оно страшней всего – такая подлость аль измена. Мы ить и с пищи пробу каждый день сымаем, потом только ему, Роман Семенычу, даем.

– Так и заняться этим офицером со всей строгостью.

– На ремни, что ли, резать? – усмехнулся Жегаленок, покосившись на Монахова. – Так ить ничем хуже смерти не накажешь. Как его ни пытай, а все одно успокоенье выйдет. Из чего ж лютовать?

– Ладно, поехали, – поднялся Сергей и стал отвязывать Степана от решетки.

Да кого же он только что видел? А может, вы больны, товарищ Северин? Увидели столько всего в один день, вот вам и начало являться невозможное?

– А Особый отдел сейчас где?

– Да, кубыть, где-то тянется, – откликнулся Мишка, подавляя зевоту. – Может быть, под Грушевской, а то и вовсе под Лихой. Чижелая служба у них. Со стульев по неделям не слезают, как и мы с коней. Всё измену вынюхивают: а ну иди сюда падлюка-самогонка да следом лезь предатель – кислый огурец. Вся и работа у сердечных, что нам, негодяям, грабировку шить, прихвати я, положим, у какой-нибудь бабы хучь с меру ячменя.

– Ты вот что, Мишка, увидишь особиста – укажи мне.

А девушка эта, сестра милосердия, – тоже, что ль, померещилась? А может, местная, при госпитале тут была? Ведь полезут, как Мишка к той, своей, – нельзя допустить.

– Послушай, сестра на дворе там была...

– Зойка, что ль?

– Я не про ту, к которой ты пристал.

– Так я и говорю вам – Зойка. Чего ж, не понимаю, про какую вы? – ухмыльнулся Жегаленок. – На ту-то вы и не посмотрите, а энта барышня, совсем наоборот, из ваших, городских. Ее, породу, сразу ить видать. На ней и вшей-то зараз, может, как на кошке блох, а все одно: коль я при ней сыму портянки, ее аж всю наперекос возьмет, до того ей мужицкая грубость противна... Да вы не сомневайтесь, товарищ комиссар. Честная девка, – заговорщицки склонился Мишка к Северину. – Да и комкорова она.

– Чего? – рухнул сердцем Сергей.

– Да хожалка его, а теперь вроде как, получается, крестница. В Саратове за ним ходила по ранению, из соски, как дите, выкармливала, когда совсем плохой он был. Так что ежели ее хучь грубым словом тронет кто – Роман Семеныч выхолостит зараз. У нас и вовсе с этим строго. Ежели так, по доброй воле, так отчего бы и не сделаться: и ей, бабе, радость, и тебе то же самое. А чтобы дуриком какую тронуть – боже упаси.

– Так что ж, она в Саратове жила?

– Ну да, там до нас и прибилась – уж какая толкнула нужда, не допрашивал, да ясное дело, что не от сытого житья. Видать, на всем свете одна-одинешенька.

Атаманский дворец, озаренный кострами, не спал. Трещали в огне ножки кресел, багетные рамы картин.

– Вон он, – поймал Сергея Мишка за рукав, кивая с хоров вниз – на подымавшегося по широкой лестнице человека в зеленой бекеше. – Начальник нашенский Особого отдела, Сажин.

Сергей встал на пути широкоплечего, приземистого особиста – и снизу вверх в глаза ему уперся гадающий взгляд темно-карих, сощуренных в щелочки глаз. Лицо округлой лепки, ничем не примечательное, показалось Сергею чересчур уж простым.

– Слыхал уже о вас, товарищ Северин. – Глаза не выразили ни сомнения, ни жалостно-брезгливого недоумения: «нашли кого прислать», а лишь одно желание – как можно скорее закрыться совсем, уснуть где угодно.

– Вам в Грушевской передали офицера, – сказал Северин, отведя особиста к дивану в углу.

– Какого еще? – так искренне не понял Сажин, что Сергея озноб прохватил.

– Лазутчика белого. Минувшей ночью в штабе взяли. Комкора пытался...

– Вот так так. – Прищуренные изнуренные глаза на миг превратились в крючки. – Знать не знаю и слыхом не слыхивал. При вас, выходит, было дело?

– При мне. Я его и привел. К обозу пристал под Лихой, подпольщиком назвался, из Ростова... А!.. Долго рассказывать. В общем, взяли его – под замок, а утром уж все, наступление... – Сергей как на притолоку налетел, и в мозгу его вспыхнула лампа: Леденев приказал – Извекова не бить и никого к нему не допускать!

– Ну что ж, – сказал Сажин. – Должно быть, лежит где-нибудь в буераке.

– Но Леденев сказал: не трогать.

– А это он при вас, при свежем человеке постеснялся, так сказать. А что там дальше, кто же его знает. Вы его янычаров видали? Понимают его, как собаки. Должно, в тот же час и прибрали.

Сергей из какой-то ему самому непонятной опаски, не рассуждая, умолчал о главном: что Леденев признал в Аболине, верней Извекове, старинного товарища по плену – и выходит, на выгрузке раненых он, Северин, наверное, и впрямь увидел настоящего, живого беляка.

– Забудьте, Сергей Серафимович, – вздохнул покорно Сажин и вдруг, поозиравшись, перешел на шепот: – Во-первых, сами, я так понял, дали маху с лазутчиком этим. Да я не в укор – любой бы мог на вашем месте обмишулиться: поди его, шпиона, угадай. А главное, совет вам: вы насчет офицера этого к Леденеву не лезьте – как, мол, так, куда дел, почему без меня?

– То есть как это не лезть? – притворился Сергей возмущенным.

– А вот так. Где есть Леденев, там нет другой власти. Один он у нас карает и милует. По собственному усмотрению.

– А вы для чего? Шигонин-начпокор?

– А что мы? Рядовые труженики. А он знаменитый герой – сам Ленин отмечает и личные приветы ему шлет. И ведь есть за что, а? Вон город какой забрал одним корпусом. Вот и попробуй вякни что. Привык он к полной власти, даже, можно сказать, охмелел, а в центре этого не могут знать, одни только его победы видят, а его самого за победами – нет. Сообщаем, конечно, что он и с пленными, и со своими вовсю самоуправничает. Да только ведь факты нужны. А из фактов у нас – только трупы. А от чего он получился, этот труп, попробуй докажи – от вражеской ли пули или от своей, – казалось, жаловался Сажин, как сутки назад начальник снабжения Болдырев. – Ведь фронт, смерть кругом. Хоть этого взять офицера – а был ли он? Дойдет, предположим, до вопроса – так все наши штабные в один голос: не видели такого. А если и видели – пропал в суе наступления. Убит случайной пулей. Чего ж его искать, когда мы и своих-то хоронить не успеваем? Свои у нас, товарищ Северин, свои пропадают. И находим изрубленными. Не то и впрямь какой разъезд казачий наскочил, не то совсем наоборот – подумать даже страшно. Ну вот и суди, чего тебе ближе – партийная совесть или своя физическая жизнь. Нет, я не обвиняю, потому как факт не установлен. Первый же буду рад, коль не прав окажусь в подозрениях, но все-таки уж больно подозрительно выходит – подавление всякого голоса против *него*.

«Пугает, – подумал Сергей. – А зачем? Чтоб я от страха делал что? Молчал и был при Леденеве вроде мебели? Промокашкой на каждом приказе? Или, может, к себе притянуть меня хочет? В свой лагерь? Чтоб доносы писал вместе с ними?.. Сажин, Сажин... От Сажина доносов будто не было».

– Я понял вас, Федор Антипыч. Человек я у вас новый – ну вот и осмотрюсь пока, товарищей послушаю.

– Без надежных товарищей в нашем деле нельзя. И без старших товарищей – в центре, – взгляделся в него Сажин серьезно-уважительно.

«А не смекнул ли он, что двинули меня как раз из центра? – подумал Сергей. – С инспекцией прислали, соглядатаем – и хорошо б ему сойтись со мной на всякий случай покороче».

На этом разговор их кончился. По дворцовым гостиным, кабинетам, столовым вповалку спал, толкался, копошился, кричал в телефонные трубки штабной шинельно-гимнастерочный народ. Паркет в липких лужах и потеках красного вина, повсюду раскатившиеся опорожненные бутылки, на ломберных столах – обглоданные кости, объедки, кожура вперемешку с чадящими, причудливо оплывшими свечами.

Сергей нашел Челищева – сидящего над картой, почесывая за ухом химическим карандашом.

– Ну что, Андрей Максимыч, положение проясняется?

– Да что вы? Со штабом удалось связаться, а с Буденным – нет. Незнаемо, что под Ростовом – гадай. А впрочем, полагаю, комкор наш прав всецело: уведет свою конницу Сидорин за Дон, и тут-то мы, в Новочеркасске, встали накрепко. А вы отдохнули бы, Сергей Серафимыч.

Сергей сел на диван, спустил наплечные ремни и стал расстегивать шинель. Аболина уж не достанешь – где бы ни был. Разве только еще раз нос к носу столкнешься. Был бы тут Леденев – прямо в лоб и спросил бы: как прикажете вас понимать?.. И почему же Леденев так запросто признал свою с ним связь? Ну а кого ему – тебя, что ли, – бояться?

На колени упала «Донская волна». Сергей машинально раскрыл знакомый журнал, перелистнул с полдюжины страниц с парадными фото каких-то казачьих полковников и подхорунжих, нашел статью о Леденеве и, будто впрямь надеясь отыскать в ней что-то новое, вцепился глазами в ряды типографского шрифта:

«Без сомнения надо признать за правило, что только тот умеет повелевать, кто сам умел повиноваться. А это в старой службе Леденева было. Были у него, очевидно, настойчивость и характер, а кроме того было и вахмистрское знание лошади... Но как к человеку своей среды, красноармейцы, весьма требовательные в манерах обращаться с ними к своему начальству из бывших офицеров, совершенно легко и безобидно для своего самолюбия сносили грубости и зуботычины от Леденева...»

«А ведь и вправду, – подумал Сергей, – всего-то три года назад он был одним из тысяч грубых вахмистров, почитал командиров, чины, слепо повиновался, зависел, терпел, нес в себе вековой, вбитый с юности страх послушания, шомполов, розог, виселицы и, вечно унижаясь перед высшими, испытывал потребность унижать. Делал все, чтобы выбиться на войну в офицеры, только это одно им владело. И вот, получается, вышел – революция вывела, наделила такой силой власти, о которой не мог и помыслить. Быть может, прав Извеков-Аболин – лишь затем и пошел в революцию, чтоб она его сделала аристократом, не машиной уже, а хозяином, богом войны. И одна только власть и потребность еще большей власти у него в голове, и будет резать всех, кто станет поперек его пути в Наполеоны. Но тогда он явление страшное, и его надо остановить. Нет, стой, подожди – ведь ты его видел сегодня: ему уже будто и радости нет во всей его силе и власти. А из чего ж ты заключаешь, что радости нет? Из того, что он неприемлем и глаза у него никогда не смеются, как сказал тот мальчонка на станции? Он говорит: война была и будет всегда, род человеческий приговорен к ней от начала мира, – и будто бы не возражает против этого и любит красоту войны, только ради нее, может быть, и воюет, хотя мы должны воевать за то, чтобы не было войн на земле... Нет, ты его не знаешь. Понять его с чьих-то чужих, хоть восхищенных, хоть враждебных слов нельзя. И вообще извне – нельзя. Пусть он сам говорит».

X

1910-й, хутор Гремучий Багаевского юрта, Область Войска Донского

Жить и жить бы в бескрайней заповедной степи, где даже гнездоватый конский след не виден, пожраный травой. Кружить по балкам племенные косяки, вдыхать полынно-горький ветер, ходить за конями, объезживать неуков, к которым еще вовсе никто не прикасался из людей, – вплетется в гриву нитка летучей паутины, так он уже тревожно всхрапывает, начинает гонять кровь и мускулы под атласистой кожей, – пластаться на выжженной суховеем земле, смотреть на одно только неизмеримо высокое небо, безжалостно чистое, с белой дырой всевышнего солнца, искать прогалы черноты на ночном небосводе, блуждать зачарованным взглядом по уходящим в гору звездным шляхам, ловить след падучей звезды, похожий на белый рубец от кнута, какой в горячах выбиваешь на крупе вороной кобылицы. И людей бы не знать.

Все мысли, все чувства Романа как будто умялись до растительного самоощущения, и понимал он про себя не больше, чем однолетняя трава. Вся злоба, все обиды, сама неизбежность сравнения своей доли с чужой всецело растворялись в подавляющем, молчаливом величии степи, в металлическом звоне кузнечиков, поработавшем слух, – оставались на хуторе, в задернутой струистым маревом дали.

Там бьется он со всем казачьим миром – на игрищах, на Масленицу в стенках, на мельнице в очереди у весов. С хрястом, кхыканьем, с воем – в переносье, в кадык, в селезенку, в печенку, в бога мать, всех святителей... Сколько помнит себя, подступались к нему казачата: «Мужик, на чьей земле живешь? А вода чья в колодезе, какую ты пьешь каждый день? А в Маныче? В Дону? Вся наша, как есть. А ты кто такой? Мужик, гольтепа. Чига голопузая». А коноводил Гришка Колычев, хуторского атамана младший сын. Смотрел отцовскими глазами, продавливая душу в пятки, и по-отцовски, с расстановкой выговаривал: «Земли тебе надоть, мужик? – Зачерпывал пыли с дороги, протягивал: – На! Жри, тебе говорят. Ух и сладкая. Конфетка медовая. – Знал, подлюка, что отроду Ромка тех конфет не едал, грудку грязного сахара разве только на Пасху и видел. – А ну, держи его!»

Извиваясь ужом, выдирался из рук навалившихся на него казачат, воротил что есть мочи лицо, зубы стискивал, как кобелек, но его, повязав по рукам и ногам, прижимали к земле, набивали рот пылью – до кашля, до удушья, до слез: «Кушай, кушай, ешь вволю!» Унижение, гнев на бессилие – вот что душило, неразрывно связавшись с непередаваемым запахом смертного тлена, с горьким вкусом казачьей земли, с ее дерущим глотку натиском, как будто та, не принимая чужака, не только ложилась на кожу едва ощутимым налетом, но и лезла в глаза, в ноздри, в глотку, торопясь завладеть Леденевым до срока.

«Заткнуть всем пасти, задавить, разодрать Гришку, как лягушонка, чтоб от страха под лавки кидались, как завидят меня», – клокотало в его голове... А отец все вбивал в эту голову: «На твоём месте – казачатам в пояс кланяться. По милости их дедов тут живем. Как не принял бы сход хуторской, не позволил нам строиться, так и сгинули бы всем семейством в степу. А тут хату имеем свою, какую ни на есть, коровенку, курей, меринка вон ввели. А грамоте тебя опять же учит кто? А выставят завтра со школы? Нам с тобой надо в землю вцепиться, как в падлу кобель, чтоб нашей она стала – хучь пара десятин, зато свои. По копейке откладывать. Казаков-стариков почитать – как завидишь их, шапку ломить. А ты на их детей волчонком смотришь».

Еще не было Ромки на свете и отца еще не было, а донская земля неослабно влекла к себе тысячи мыкавших горе и нужду мужиков. Далеко во все стороны света шел слух о ее

баснословной, неиссякаемой родящей силе. И текли нескончаемыми ручейками разнородные переселенцы – русаки из центральных губерний, украинцы с Полтавщины, с Харьковщины... Холостые, семейства с детьми. Голытьба с изможденными лицами и усохшими в былку ногами, мужики при достатке, с набитой мошной, упорные в работе, дошлые, пройдошистые.

И Семен Леденев в одиночку подался на Дон из родных Семилюк – не захотел жить дома безземельным, четвертый сын в большой семье. Блукал по верховским станицам северных малоземельных округов, нанимался в работники, плотничал, шорничал, пахал, вбирая запах чужого чернозема, а потом уж спустился до Маныча и посватался к Ромкиной матери – из многодетного семейства коренных иногородних в станице Егорлыкской взял – и явился на хутор Гремучий вместе с нею и первенцем Ромкой, владетельно ревелившим и смолкавшим, присасываясь к выпростанной из рубахи материнской груди.

Приезжие, иногородние по-разному вращались в казацкую землю. Кто позажиточней, арендовали сотню десятин, покупали для пахоты пару быков, торговали с рук разным потребным в хозяйстве товаром, переторговывали скупленным и краденым, открывали лавчущики с кожаным, красным товаром, галантереей, керосином, солью, спичками, закупали с заводов косилки, рядовки, плуги, давали в долг, копили векселя – за косилки, за веялки, за быков, за коней, за казацкую справу к действительной службе, – откупали и строили мельницы, хлебные ссыпки, богатели, росли, нанимали работников. Голоштанники смиренно батрачили, упорные и цепкие, как жилистый бурьян на каменном суглинке, тянулись ко всяким ремеслам, к учению, к грамоте, трудом и сметкой сиюсь выбиться из нищеты. Казаки в своей массе презирали и тех, и других: богатеи терпели, завистливо косились на высокие, под жестью курени, над беднотой же изгалялись, за аренду земли драли шкуру да все гольный суглинок норавли подсунуть. Ото всех, даже самого что ни на замухрыжистого казакишки, растекалась глухая, дремучая спесь: вся земля на Дону им за верную службу царями пожалована, по ноздрю за нее деды крови хлебнули, на три сажени вглубь казацким потом напоили. Скажите спасибо, что проживать вам позволяем у себя, всем мужикам, из лыка деланным и хворостиной подпоясанным.

Дозволили и Леденевым. Прокофий Попов, по уличному прозвищу Хрипун, отвел Семену затравевший угол на своем базу, передвинул плетень. На отшибе, над яром забелела саманная хата, покрашенная крейдой с лицевой стороны, уставилась на улицу двумя подслеповатыми оконцами. Сквозь земляную, камышом застеленную крышу торчала глинобитная труба, для лучшей тяги довершенная ведром без днища. Распушился по зимнему небу еще один хвост горьковатого – такого сладостного после стольких бездомовных лет – кизячного дыма.

И хата, и печь, и рыжая телка – все в долг. В аренду брал отец четыре десятины твердой, как железо, супесной земли: без двух пар быков не подыметь. Держался за чапыги, а Ромка погоньчем шел. Нож глубоко, до черноты взрезал заклепшую, безжизненно серую корку. С сияющего лемеха, вывертываясь наизнанку, стекала бесконечная глянцевиная лента, и ни с чем не сравнимый пресный запах разверстой земли будоражил нутро.

Подрос – сам взялся за чапыги Ромка, налегал, шел по серой хрящеватой земле, сгибаясь, как в немом молении о хлебе, всей своей жилой тягой прося отвориться, раздаться – ощущая биение плуга, словно земля под ним толкалась как живая, не пуская в свою сокровенную плодородную глубину. А отец поучал: «На правую, на правую чапыгу налегай, на перо его ставь, чтоб опосля отвал не чистить. А бочонок чего ж у тебя не подкручен? На укос лемех ставь – видишь, он у тебя забирает на всю ширину, и быки через это страдают, идти не хотят. Плуг настроить – ум надо иметь. Это, братец, не легче, чем музыку на рояли играть».

В иные года приходилось поденничать, наниматься к богатым хуторским казакам, к тем же Колычевым. Сгребали вороха чужого хлеба с чужой же косилки, метали вороха чужого сена на чужой же воз, косили, боронили, задыхаясь от насады, не столько непосильной, сколько

неблагодарной. Так ходит лошадь в чигире по кругу, вращая водяное колесо, работая на человека и только чуть-чуть на себя, смирившись, что не будет ей ни воли, ни вдосталь овса.

И тянуло уже не к земле, а к коням, да и раньше-то, с первых шагов по земле, поперед всего – к ним, к силе их, красоте, чудесному, почти что человеческому, а то и большему уму. Верность дикой свободы, беспреградное мчание, непреклонная гордость в изгибе их шей. И в небо-то глядел – все чудился ему голубоглазый белый конь, поднявшийся в дыбки на меловом обрыве.

«Да куда тебе на конь? Садись на свинью. Лапоть ты дровяной, твое дело – пахать», – потешались молодые казаки. И будто правы были – вот что жгло. Казачонку как год от рожденья сравняется, так сажают верхом на коня.

Тянуло Ромку к этому народу. Мужики-то ходили все больше согнувшись, как те быки в ярме, не подымающие глаз от борозды, покорно тянущие воз-нужду, пока не одряхлеют, а в казаках, хотя и тоже гнувших спины в поле, была какая-то неизъяснимая особенная сила, которую они как будто вправду взяли от родимой земли, по крови унаследовали от буйных своих прадедов, больше всего любивших волю и ненавидевших холопство, бежавших от царя, бояр и воевод, из кабалы и от судьбы, воевавших за эти раздольные степи с татарами, ходивших на туретчину, в необозримую Сибирь, в немыслимую Персию, сбивавших руки в кровь не только плужными чапыгами, но и веслами легких своих крутогрудых стругов, ничего не боясь и никогда не признавая своей долей только то, «что Бог им дал». Идти, идти туда, за край земли, в пределы, обозначенные только звездами и нитью горизонта, где можно размахнуться всею силой жизни, пускай и потерять ее, но поравняться, породниться со всем этим великим, бесчеловеческим безбрежьем, высотой...

А как в седло себя кидали с маху, как гарцевали и джигитовали, на полном аллюре слетая и тотчас снова вскакивая на коня, то лежа поперек седла, то сидя задом наперед, то обрываясь, свешиваясь до земли, цепляя кончиками пальцев носовой платок и выпрямляясь, словно красноталовая ветка, освободившаяся из-под колеса. И ничего с такою силой не хотелось, как доказать, что он, мужик, не хуже может: заваливать набок застывшего, как будто вкоренившегося в землю дончака, на всем скаку, привстав на стремянах, рубить лозу, чтоб косо срезанная хворостина отвесно втыкалась в песок заостренным концом, крутить себя на скачущем коне, с неуловимой быстротою переметываться, перетекать всем телом из седла в седло, ныряя бешеному степняку под брюхо и перескальзывая поперед его груди. И не только достигнуть всего, что казаки всосали с материнским молоком, но и первым стать, первым среди них, чтоб в глаза не могли поглядеть ему прямо, как не может на солнце смотреть человек.

Да только где ж добыть добрячего коня? Украсть? Год за годом отец за божницу целковые складывал – на быков да на плуг, на косилку. Брат с сестрою у Ромки – родила мамка двойню, Степана и Грипку. А матери уже три года нет... Вбежал как-то в горенку – и не узнал: неужели она на кровати? Лицо как углем подвели, одни только скулы остались да нос. Тянулись по подстилке разбитые работой коричневые руки, как высохшие тыквенные плети в мертвый зной. И она, показалось, не сразу узнала его, и не мог посмотреть ей в запавшие, по-звериному настороженные и вместе с тем неуловимые глаза, не выдерживал этого накаленного взгляда, начищенно блестящего из глубоких провалов орбит.

Ему стало жалко себя. Всех их, всех, Леденевых, но прежде всего именно себя – того, беспамятного, крохотного, что захлебывался гневным криком на руках молодой, сильной матери, властно требовал грудь и по-мышьи прихватывал молочными зубенками сосок, и того огольца, что всегда мог примчаться и с разбега уткнуться лицом в материнский живот, чтоб как будто и вправду опять очутиться по ту его сторону, оградиться им, как самым верным щитом, ото всех своих бед и обид. И, подмытый вот этим детским чувством покинутости и беспомощного одиночества, он шагнул и припал к безответному телу, из которого некогда вышел он весь.

Что-то сдвинулось в мире, где только трава равнодушно ввергает свои корни земле, а судьбу – суховею, палящему солнцу или лезвию звонкой косы, усыхает и деревенеет, умирая бесстрашно и молча. Говорили: от бабьей болезни; говорили: на все Божья воля – но Ромка слышал: Бог молчит, ничего не ответил на смерть его матери и на смерть вообще – верно, нечем ответить, кроме разве угарного чада церковных свечей да тягучего баса попа Филарета, у которого вечно бурчит в животе и запах кислых щей с говяжьими мослами перебивает запах ладана.

Ему казалось: мать надорвалась в неблагодарной, непосильной работе, на которую их, Леденевых, обрекал весь железный, испоконный уклад человеческой жизни, и казачьей, и всей вообще на земле: от зари до потемок гнуть хребет на богатых, отдавать полновластным хозяевам чуть не все заработанное, крутить молодое, красивое тело жгутом и все вернее ощущать, что чем дюже себя крутишь, тем меньше остается силы жить. А Бог... Бог если и был, то силой, подобной весеннему палу в степи, бездонной воронкой, разверстой средь звезд.

Каким-то совершенно новым взглядом он посмотрел на казаков, на статных, кровно-розовых казачек с горячими, свежими лицами и обнаженными в улыбке рафинадными зубами: те будто бы нарочно выставляли свои здоровые, цветущие тела, обтянутые сборчатыми юбками и чистыми рубашками, гордо, счастливо шли по веселой земле, а мать уже навек была отделена от всего того зримого и осязаемого, из чего создан мир.

Три года прошло. Теперь он живет в артели табунщиков, на многих тыщах десятин целинной, никогда не паханной земли. Гремучинский казак и отставной урядник Атаманского полка Федот Чумаков зазвал его в конезаводство генерала Ашуркова: «Коней, примечаю, жалеешь. К панам пойдешь глядеть за табуном? Положат тебе жалованье пять целковых в месяц... Смотри, у нас служба чижелая». Ну вот и служит он с Федотом, с Сидоркой Струковым, веселым конопатым парнем, с двумя калмыками, Ягуром и Бурулом, чьи ноги кривы и сильны, как наставленные копытные щипцы, словно оба с рождения на колодезном вороте двадцать лет просидели, да с дедом Пантелюшкой по прозванью Борода, на голом сморщенном лице которого за весь век не пробилось ни единого волоса, оттого и прозвание – в насмешку.

Чумаков и калмыки учили его объезжать дикарей, чуют норы коня, понимать в лошадиных статях и изъянах, Борода же – лечить и ходить за конями. Словно девка в венок луговые цветы, выбирал в яслях былки духовитого свежего сена, пересчитывал каждую, собирая в пучок; по спине лошадиной водил, как ребенка мочалкой оглаживал: гляди, мол, как надо – ты рожу не помоешь поутру, и то тебе противно, а коню чистота до зарезу нужна, дышит он не одной только грудью, как ты, а всей кожей.

Так и жить бы с конями, да только, вишь, и жеребцы за кобылиц друг с другом бьются, водят их косяками по степи за собой, покрывают красавиц, выделяют одну, возле которой по особому тревожны и порывисты. Вон как Ветер кладет свою злую змеиную голову на лоснящийся круп белоногой Строптивой, трется храпом о гладкую кожу – скажи не человек. А оторви его от матки, привяжи – будет рвать тебе душу тоскливым, негодующим ржанием, будет биться в станке, перегрызет, бывали случаи, чембур и все одно уйдет за кобылицами.

Вот так и он, Роман, метался по ночам на нарах или голой земле, ощущая свое тело клеткой для чего-то слепого, бунтующего, клещами выворачивающего наизнанку. Неутолимое желание его имело только один образ – Дашки Колычевой, ее лица, прозрачно-синих глаз, всего ее тонкого, гибкого стана, так выходящего в поступи, что больно посмотреть. Вот ведь как: с Гришкой, братом ее, насмерть бились, а Дарья вошла ему в душу, как сазану кулан под жабры.

Когда еще на выгоне приметил.

Белоголовая девчонка с огромными на худеньком лице пытливыми глазами смотрела на него с бесстрашной, вызывающей прямоотой отвращения. Тогда и не было в ней ничего, кроме этих диковинно синих, пугающих глаз – лягушонок, цыпленок на худых голенастых ногах, но не мог поглядеть на нее прямо и немигающе. Почему-то вдруг делалось стыдно за свою

рубашонку залатанную, за босые, покрытые цыпками ноги, а то вдруг нападала беспричинная радость, и ходил перед ней на руках, с казачатами схлестывался, выхвалялся, выказывал лихость.

А нынче выровнялась Дарья в удивительную девку. В поясе – кольцом ладоней можно обхватить, и вся как будто бы звенящая, натянутая в струнку. Высоко несла гордую голову в золотистом сиянии пышно-тяжелых, как заливы созревшей пшеницы, волос. А посмотришь в глаза – как ледяной колодезной воды с пятисаженной глубины глотнул. Даром что не казак, выделяла его, смотрела неотступными, насмешливо корящими глазами, как будто говоря: «Ну что же ты? Боишься? Вот я вся перед тобой. Делай со мной что захочешь. А вернее, на что духу хватит». И он молчаливо преследовал. А дальше их руки уж сами друг дружку нашли.

Сколько можно так вытерпеть – воровски пробираться к церковному саду, боясь нетопырей и мертвецов на кладбище, хорониться от всех чужих глаз и ушей, прикидываться дружка к дружке наподобие ложек, затиснутых одна в другую, и изнывать от невозможности дойти до последнего края, до того, без чего невозможно прожить ни единому существу на земле.

Целомудренная простота лошадиных сношений казалась Роману куда как честнее людской, боязливой любви, опутанной, как ежевичником, разнообразными условиями. Что ж, ему себя выхолостить? Оскотинить – нарушить ее, на всю жизнь обнесчастить позором? Страшна участь девки, какая загуляет с казаком ли, с мужиком ли до свадьбы: коли станет известно, что уже не невинна, то всем хутором будут травить, мазать дегтем ворота, а то и поймают ребята в степи, побьют, изнасилуют в очередь, завяжут ей подол на голове, стянут руки треногой и выгонят в поле – и побредет она, слепая, запинаясь о кочки и падая, пока не выбьется из сил, а то и вовсе не сорвется в яр, ломая себе шею... Или, что же, посватать? Хуторского атамана дочь? Ему, мужику, гольтепе? Да самый захудалый казачишка стонит с базу: «Пшел отсюда, мужик! В тебе казачьей крови – ни поганой капли».

А тут и Гришка, братец, подскочил на игрищах, как кочет, прихватил за рукав, глянул в душу: «Примечаю, ты с Дашкой. Покуда подобрашу прошу: отцепись от сестры. Шел мимо – иди. А нет – смотри! Ить девка, должен понимать. Как с женою тебе все равно с ней не жить – так чего ж ты? Попомни мое слово: откроется, что спортил ты ее, – не жить тебе на свете».

О том и думал, пришивая ременный чембур к недоузду, как подскакал к артельной мазанке Сидорка:

– Ну, Ромка, сказать али нет? Сваты до Колычевых, знаешь?

– Откель же? – спросил с напускным равнодушием, ощущая, как кожа трещит на лице и над сердцем.

– Кубыть, из Багаевской. Халзановы, слышал? Говорили тебе, атаман за нее не меньше, чем урядника, отхватит, а то и целого подьесаула. На скачки нынче побегешь?

Бросил Ромка чембур, подседлал Огонька. Задохнулся налетом горячего горького ветра, но внутри была горечь острее – самый-самый полынный настой. Безжалостно палило солнце, уж ставшее в дуб. Накаленная дымная степь, простиравшаяся желто-бурой верблюжьей кошмою от края до края, была пустынна и мертва. В задернутой текучим маревом дали родимый хутор показался вдруг Роману перевернутым: в расплавленном палящим зноем небе возникли странные подобию пирамидальных тополей и белой колокольни, которая огромным известковым капельником свисала с небес – зеленой маковкою книзу, как если б крест Спасителя, прикованный цепями к ней, был якорем, опущенным в струящееся голубое марево.

На выгон стекался народ – весь луг запрудило краснооколыми казачьими фуражками, павлиньими красками праздничных юбок, расшитых завесок, платков. Давно уж был офлажен пятиверстный круг и на кругу устроены препятствия: крестовины, двойной палисад, глухой, в два с четвертью аршина, дощатый забор, корзины из жердей и напоследок труднейшее из всех – высокий вал с глухой плетеной изгородью, за которой не видно канавы с водой, так что надо взять обе преграды зараз или уж зашибиться.

Прощупывая землю костылями, притащились горбатые и еще не утратившие молодой своей выправки, трясущие полуседыми бородами старики. По-совиному топорщились зеленые, словно патиной тронутые брови над тускло-оловянными бессмысленно-упорными глазами; шишкастые коричневые руки дрожливо утирали слезы, какие бывают у старых собак и доживающих свой век строевых лошадей; позванивали древние медали и кресты, приколотые к синим и черным сюртукам, просторно болтающимся на усохших плечах. Расселись на сооруженном для них деревянном помосте.

Народ гоготал, гомонил, уминался. Ребятишки стабунились у оградной веревки с навешанными красными флажками. Все глаза обратились на первых подъезжающих всадников – в лазоревых, розовых, красных сатиновых и шелковых рубахах, в казачьих фуражках со спущенными под подбородок ремешками.

– Погляди, Сидорей, – вытягивая черепашью шею из стоячего воротника мундира, пихнул старикан Буравлев локтем в бок огромного ссутуленного атаманца с печальными и мудрыми медвежьими глазами. – Навроде из моих гарцует, а?

– Алешка и есть. Хведота твоего меньшей.

– В мои кровя! Бедовый! А хистом, скажу, еще дюжее меня взял. На императорском смотру я первый приз за джигитовку снял – так и его хучь зараз перед самими их величествами выставляй.

– А энтот чьих же будет? – ткнул Евстрат Касалапов ногтистым прокуренным пальцем во всадника на буланом коне. – Не признаю отсель. Не Еланкиных меньшей? Али Волоховых?

– Экий ладный казачок, – одобрительно прицокнул атаманец Селиванов. – Будто Ключевых парень. По одеже видать, не из шибко справных.

– Да у Ключевых сроду таких коней не было! – возмутился Буравлев. – Мы с Мартыном-то, покойником, полчане были. Под Карагачем сгинул. В пики двадцать орудиев взяли! А Мартын сплеховал – за одним янычиром погнался, а второй его сбоку ссадил из ружья.

– Замолкни, балабон! – прикрикнул Касалапов, пристукнув по настилу ясеновым костылем.

– Чего это?

– Не об том ты толкуешь, – сказал медвежковатый Селиванов. – Казачок чейный вон, не угадываем. А ты, как слепая кобыла, в объезд потянул – Мартына покойного к слову приплел да ишо янычара с ружьем.

– Верховой энтот вовсе никакой не казак, а мужик, – подал голос Прокофий Попов по уличному прозвищу Хрипун. – Семена Леденева парень, соседа моего. Табунщиком в Привольном у Ашурковых.

– Куды ж он выткнулся, мужик?

– Куды конь с копытом, туды и рак с клешней, – гоготнул Касалапов.

– Так-то чем не казак? Вон как ладно сидит, даром справа худая на нем, – прогудел Селиванов, провожая Романа придиричивым взглядом.

Роман, в полинявших на солнце обносках, в бараньей шапке набекрень, вел взглядом по радуге бабьих платков, отыскивая среди лиц единственное Дарьино. Оглядывал и всадников. Гришка Колычев в краснооколой фуражке и распоясанной лазоревой рубаше проехал мимо, не здороваясь – на высоком гнедом дончаке.

Среди знакомых до прожилок хуторских казаков выделялся заезжий – на вороной красавице-кобыле, полукровке с англичанином, в шевровых сапогах и сатиновой синей рубаше. Чернявый, с ястребиным носом и тонкими усиками над верхней губой – как баба себе брови подвела. С завистливой жадностью, цепким взглядом барышника оглядел Леденев кобылицу под ним. Грудь глубокая, длинная, и передним ногам на аллюре ничего не мешает, зад прямой, малость свислый, ноги безукоризненно стройные, с длинными бабками, никакого размета, косолапины в них. С боков как бы сдавлена между грудью и крупом и еще больше вытянута –

легка, как гончая собака. И послушна хозяину, как члены его собственного тела. С пофыркиванием дергала, помахивала головой, косилась на того веселым, нежным глазом, могла б заговорить – так тут же бы спросила: «Ну когда же тыпустишь меня?» «Вот так и Дашка под негопойдет», – упало в Леденеве сердце, и опять ощутил, как задержались мышцы у него на лице.

Подъехал вплотную. Заезжий молодец почуял на себе его тяжелый взгляд и посмотрел в ответную – беззлобно и без вызова, широкими голубовато-серыми глазами. Глаза их встретились, и Леденев почувствовал укол небывалого, неизъяснимого чувства – не ревности, не зависти, не злобы, а будто даже страха: так конь вдруг пугается собственной тени и сторонится, избочившись, а то и шарахается, несет, забирая предельную скорость, чтоб оторваться от вот этой темной своей спутницы, стереть ее ветром, погасить сумасшедшим наметом, а отделиться от нее, несущей в себе что-то от тебя самого, как раз таки и невозможно – не раньше, чем солнце умрет. Было в этом граненом смугло-черном лице, и в глазах, и в фигуре такое, от чего будто в самой крови Леденева полузвериным бормотаньем предков ожило далекое, расплывчатое представление о потустороннем, изнаночном мире покойнических душ, невидимых бесов за левым плечом.

Роман не успел ни размыслить, ни даже разглядеть как следует глаза и лицо чужака – зазвенел медный колокол, и все поехали к меже.

Выравнивались долго, все время чья-то лошадь высывалась мордую вперед...

Но вот ударил колокол, и разом сорвались. Вперед ушел Алешка Буравлев на светло-рыжей белоногой кобылице, за ним – табунком сразу пятеро. Распаленный кобылой, Огонек влег в поводья, и Роман с неправдивой, сновидческой легкостью обошел Кочетка и Степана Чувилина.

Сажень в пяти пузырилась надутая ветром рубаха Алешки, вилась в дурном нахлесте махорчатая плетть, не сходявшая с рыжего крупа. Вихрилась горячая белая пыль из-под летящего хвоста, оседала на лицах и трепещущих храпах преследователей. Утоптанная хуторская толока на разрыв натянулась под всадниками, как на пальцах платок, и по этой летящей навстречу нескончаемой глади прожигал на своей вороной кобылице чужак, клал наравне с Романом дробную, дымящуюся строчку. Рот его был ощерен, но лицо выше кипенно-белой полоски зубов и глаза оставались спокойными, как у зверя в засаде. «Придерживает, для препятствий бережет, – ворохнулась колючая мысль. – А я Огонька уж намучил – на хутор бежал во весь дух».

Взнялись над палисадом, и ни один не зацепил, и вот возник перед глазами, вырастая, и показался вдруг неодолимым двухаршинный дощатый забор. Над ним мелькнули задние копыта буравлевской кобылицы, и всем телом подался вперед Леденев, посылая коня на заплот.

Ворона взлетела в сажени правее, с двухвершковым запасом от точеных копыт забирая препятствие, но Халзанов уж слишком подался вперед, весь клонясь к конской шее, и кобылица высоко отбила задними ногами в воздухе, и повторяя это страшное движение, отбил шевровыми ногами и наездник, неимоверной силой вышибленный из седла. В неуловимый этот миг Роман увидел его в синей пустоте, в последней связи с кобылицей – на поводьях, никуда уж, казалось, не могущего деться, кроме как полететь через голову лошади, распахать носом землю, угодить под копыта или разом свернуть себе шею.

Но он еще не знал вот этого Халзанова. Оказался тот ловок, как кошка, которую хоть с колокольни швыряй: захватил лошадиную шею, повис по левый бок понесшей кобылицы, вытягиваясь в струнку над землей, и тотчас же метнул себя в седло, казалось, вовсе не толкнувшись ногами от земли, а только напряжив, скрутив свое железное, сухощавое тело!

Отстал, конечно, от Романа, пока выравнивал да стремяна искал. Поднабрали другие – Чувилин и Колычев Петр. Роман придавил Огонька, и рыжий зад Алешкиной резвачки начал приближаться с каждым махом. У Алешки рубаха взмокрела и прилипла к спине меж лопаток, и плечо Огонька потемнело от пота. Роман уже не чуял в нем запаса.

Халзанова не было видно. Роману хотелось оглянуться назад, но слишком был занят борьбою с Петром... И вот уже перемахнули все корзины, и тут в уши шилом вонзилось еще одно чужое конское дыхание – Халзанов пошел во всю силу своей кобылицы, которую до этого расчетливо прижеливал, и Леденев со злобой и стыдом увидел струны, комья черных ног – они ходили рычагами разогнавшегося паровоза, и вот уже под брюхом вороной мелькало восемь, двадцать ног, и храп ее резал Романа до самой середины.

На последнем препятствии все и должно было решиться. Не всякая лошадь идет на высокий лозняк, не видя, что за ним – все та же плоская земля или провал. Резвачка Буравлева не пошла. Рвал ей губы железом Алешка, сиюсь выправить вскачь на преграду, и, обернувшись с плачущим оскаленным лицом, покорился, сошел-таки с круга, чтоб налетающие следом не зашибли.

Всем своим чувством лошади, силы соперника Леденев предугадывал, что размахавшийся Халзанов не повторит своей ошибки, но видел, что встопорщенные уши вороной заломились назад, изобличая страх и нерешимость, – и потому, рискуя всем, придавил что есть силы, чтоб первым взвиться над канавой. Халзанов взлетел почти на два корпуса сзади него, но тотчас же стал набирать и вот уж вколачивал в землю копытами, рвал на себя, стирал с лица земли летучую леденевскую тень, как будто и из самого Романа выбивая частицу за частицей его силы.

Последние двести сажень, нахлестывая лошадей плетью, они прошли вровень, как будто и хозяин, и тень один другого, и вот уж, полосуя себе сердце, Роман увидел уходящую вперед запененную морду вороной, пускай на волос, но вперед – так ему показалось, и сердце в нем оборвалось с ударом колокола, зайдясь от бешеной обиды и отвращения к себе...

Дарья все это видела. Земля под нею пошатнулась еще поутру, и вещее предчувствие неотвратимо надвигающейся новой, совершенно неведомой жизни с тех пор не отпускало ни на миг. С утра пошли с матерью в церковь, вернулись – у дома чужой тарантас, холеные, сытые кони немалый, видно, сделали пробег.

– Дашуня, рассказала бы, чего такого видела на утрени, – позвал с неожиданной лаской отец.

Пошла на зов в залу – за столом истуканами трое гостей-казаков. Друг в друга чисто вылиты: широкий размет властно сдвинутых на переносье бровей, носы крючком, окладистые бороды, удлиненный разрез твердых выпуклых глаз, внимательных и строгих, будто на иконе, но и пугающих своею волчьей студью. Один был, правда, безбородый, молодой, тонкоусый – повстречался с ней тотчас глазами, какими-то затравленными, но в то же время понуждавшими к повиновению, и на миг показалось: то Ромка поглядел на нее – с другого, смуглого, носатого лица.

Кровь кинулась ей в голову. Потупилась, сморгнула морок: да ну какой же это Ромка? Все чужое. Бирюк и есть, весь в бату с братом, даром что прилизался, как приказчик в бурьяновской лавке. По доброй воле под такого?.. По ласке в голосе отца, по каменной серьезности гостей все поняла и приготовилась противиться: не люб мне, и все, через себя переступить не стану, хоть вы режьте, – и в то же время думала о том, к лицу ли ей черная кружевная файшонка и как обхватывает стан сатиновая голубая кофточка, была в своем счастливом дне, доселе небывалом, поскольку чуяла непогрешимо, всею кожей, что и сваты, и сам жених признали: хороша.

Ну а Ромашка-то, Ромашка? Босиком еще бегали – выделяла его из оравы мальцов по особому взгляду дичащихся глаз, которые встречались с ее взглядом и тотчас убегали, но все преследовали и смотрели на нее с недетской выпытчивой жадностью и даже с выражением страдания, мучительного будто бы усилия понять, откуда она, Дарья, вообще взялась такая, и радостная гордость за себя опаляла ее изнутри, раскаляя лицо, даже уши.

Изначально заложенным и, наверное, рано проснувшимся в ней бессознательным женским чутьем угадала в босом мужичке того рослого, статного парня, на которого стали заглядываться все молодки и девки на хуторе, и казачки, и иногородние, и завидовать Дарье, присушившей его, горько жаловаться на свою незавидную долю: «На кого батя указали, под того и ступай», и восхищаться ее смелостью: «Ну, Дашка...» До чего только вот доведет смелость эта? Убежать с Ромкой в дикое поле? В калмыцкой юрте жить, с конями? Тут, в Гремучем? Невенчанными? До костей расклюют. Родные братья будут вслед плевать. Вон уж Гришка и так напустился, вырвал Ромкин подарок, полушалонок цветастый, – из-за пазухи вынула любоваться, дуреха: «В страму весь род наш ставишь, курица! До Фроськи Родимцевой выткнула, на люди! Далеко же у вас зашло. Сватов не сулилсЯ случаем заслать? Вот уж батя возрадуются. Поучат вожжами тебя... Смотри, девичья честь один раз теряется – всю жизнь похилишь, обратно не выправишь».

А тут обвалились вот эти, Халзановы. Сваты до нее наезжали и раньше – и свои, хуторские, и из дальних станиц. Отец не неволил, да и свой интерес соблюдал: в мужа Дарье прочил не абы кого. Но теперь по тому, как почтительно он обращался с гостями, не то чтобы приниженно-угодливо, а именно обрадованно, вцепившись в старшего Халзанова, как собака в говяжий мосол, она со страхом поняла, что вот за этого чернявого отец ее будет выталкивать чуть ли не силой.

И вот она стояла у веревочной ограды, в толпе галдящего народа, и искала среди всадников Ромку – знала, что прибежит из Привольного. Нашла бок о бок с гостем – Матвеем, стало быть. Чужого занимал буланый Ромкин жеребец – точь-в-точь он и Дарью оглядывал в доме, занозистым взглядом барышника.

Дарья с недоуменным стыдом уличила себя, что поневоле сравнивает их. Схожи были и ростом, и статью, и даже в лицах было общее: высокие крупные лбы, обточенные плиты скул, крутые подбородки. Но коршуниный нос заезжего, и смоляной его курчавый чуб, и зло изогнутые угольные брови наотрез отличали его от Ромашки – от бесконечно уж знакомого лица, которое она исцеловала, исходила губами и пальцами, блуждая по лбу, спинке носа, глазам и будто открывая для себя какой-то иной его, тайный, одной только ей и ведомый образ.

Но с тем же темным, отстраненным недоумением перед собою признавала, что этот чужой, угрюмый, нахохленный, черный не только не противен ей – как думала сказать отцу и верила, что верит в это, – но и влечет к себе необъяснимой силой, как будто той же самой, что и в Ромашке, но и какою-то еще, какая только в нем есть, и если б повстречался прежде Ромки... Ромашка что – уже до донышка понятны были Дарье его упорно-неотступная к ней тяга, его почтительное восхищение, которое одно ему и не давало дойти с ней до самого края... но сколько можно так и чем у них все кончится?

Как перед скачущими лошадьми глухой лозняк, перед нею была неизвестность, и она могла с легкостью перемахнуть эту изгородь, выпуская на волю свое истомившееся естество, но в отличие от лошадей точно знала, что за этой последней преградой будет даже не яма, а беспролазная трясина всеобщего презрения и измывательства. А этот, Матвей, диковато-красивый чужак, мог оказаться и жестоким, и блудливым, как кобель, и вообще черт-те знает каким, но за ним были определенность замужества, соблюденный обычай, венчальный обряд, жизнь на прочных устоях.

Ее и впрямь уж разнимало надвое. И жалость к себе, и жалость к Ромашке, и даже будто бы уже обязанность не отступить от него, и вместе с тем чувство их связи как мельничного жернова на шее – все это свилось в ней в один нерасплетаемый клубок, и разорвать его она могла, казалось, только умерев. «А кто зараз первый прискачет, под того и пойду», – проскочила в ее голове совершенно уж дикая мысль, и она со стыдом оттолкнула ее от себя. Что же, она, как кобылица меж двумя жеребцами, стоит и ждет, пока один побьет другого? А если он обскочет? А если Ромашка? И так, и так – мучение и страшно.

С неизъяснимым диким возбуждением, словно и впрямь ждала решения судьбы, следила Дарья за сорвавшимися всадниками, в числе которых были оба ее брата, но их-то она как раз и не видела.

Сперва ей было видно все: мелькающие ноги вытянутых в стрелку лошадей, набитые ветром рубахи, сведенные, как кулаки для удара, или страдальческие, как бы плачущие лица седоков... Потом все вытянулось в цепку разноцветных пятен, потом и вовсе скрылись за кургашком, потом возникли вновь – уменьшенные до размеров муравьев, стремительно меняющие очертания комочки, которые сбивались в один катящийся клубок, и снова разделялись, протягивая за собою шерстистые нитки поднявшейся пыли, как будто разматывая себя до конца. Но не размотались, а наоборот, метущимся под горку перекасти-полем увеличились – один и еще три, несущихся вскачь наравне. Она не разглядела, а сердцем угадала Ромку среди троих, а где Ромашка, там и *этот* на своей чудо-птице.

Их лошади перелетали барьеры, как будто еще больше удлиняясь на дуге высокого прыжка, и вдруг всадник в синей рубахе взлетел над своей вороной вверх тормашками, как цибики сена на рогах взбесившегося бугая, но тотчас опять очутился в седле – с такой же естественной легкостью, с какой сорвавшаяся с крыши кошка приземляется на все четыре лапы, и сердце Дарьи, бьющееся в ребрах, как крылья стрепета на взлете, с опозданием рухнуло – не то от страха за него, не то, наоборот, в надежде, что сейчас он свернет себе шею.

Вокруг нее охали, гикали, взвизгивали, и вдруг в едином вздохе и онемении толпы она услышала как будто комариный звон, который тотчас перешел в пронзительно-визгливое, всю душу выворачивающее ржание. У самого забора трепыхалась вороная лошадь, рядом с ней неподвижно синела рубаха зашибшегося седока, и Дарье на миг показалось, что это Матвей, хотя и тот, и Ромка давно уж ушли от этого места.

То нахлестывая лошадей, то припадая к конским шеям в каком-то иступленно-заклинающем порыве, они летели так, словно хотели какую угодно ценою уйти на свободу один от другого, не дать один другому затолочь свою несущуюся тень во прах, и между проскочили как один человек. Колокольный удар уравнивал ощеренные зубы и раздувшиеся ноздри лошадей, vmорозил их в прозрачный воздух, как по нитке. «Кто же первый прибег?» – спросила себя в тоскливой растерянности...

– Запалил ты его. Давай теперь вываживай, – кивнул Халзанов Ромке на хрипящего, носящего боками Огонька.

Роман посмотрел на него долгим взглядом, выражающим то, чего Халзанов, разумеется, понять не мог и понял, видимо, по-своему – как зависть обойденного на скачках.

Леденев понимал, что этот казак у него ничего не украл. Победу вот эту – уж точно. Но если б вот этот Халзанов и Дарью взял только своей личной силой, вошел в ее сердце, заслонил собой Ромку, тогда б и это было справедливо... да только ведь не сила человека, а вековой уклад всей жизни делал их неравными, одного прибывая к земле, как траву, а другого казачьим лишь званием вознося над мужицкой породой, отнимая у Ромки и выдавливая за приезжего Дарью, и вот это-то было невозможно простить, но и что с этим делать, тоже было неведомо.

Писарь выкликнул казака Багаевской станицы Халзанова Матвея, вторым – Петро Колычева, третьим – Ромку. Степенно поднялся хуторской атаман, держа в руках богато изукрашенный ракушками нагрудник и наборную уздечку, но тут случилось непредвиденное – сломав в презрительной усмешке губы, Халзанов плетью отодвинул полагающийся приз:

– Прощенья прошу, господи старики. Подачаек мне не надо.

– Вот так голос! – Кременно-властное лицо Игната Колычева вытянулось в каком-то бугаином изумлении. – Кому же тогда?

– Ему. Он передним прибег, – кивнул чужак на Леденева через левое плечо.

– Мелешь, Матвейка, сам не знаешь чего, – ссудил сквозь зубы незнакомый пожилой казак, – должно, его, халзановский, отец, такой же кречконосый.

– Чего ж тут не понять? Недолюбляют казаки, когда мужик нас всех обскакивает.

– Бери, тебе сказано! – нажал отец глазами на Халзанова. – Все видели: ты передним прибеги. А ежели не выбился, то и нисколько и не отстал.

– А ежели наравне, так и делите между нами. Чего ж вы его вовсе третьим поставили? Конек-то у него не шибко резвый, у нас с Петро куда добрее кони – стал быть, наездник лучше нас, за то ему и честь. Аль не по-правильному это, господа старики?

– Во норов, а?! – уже как будто восхищенно покачал головою отец его.

Приз порешили разделить: нагрудник отдали Халзанову, а уздечку Роману. Нарядную витую плетъ вручили Петро, а голубую шаль с цветами – никому. Жаль только, Дарью разделить было нельзя, из одной нее двух цельных сделать.

XI

Январь 1920-го, Новочеркасск

– И что же дальше было? – спросил Северин старика Чумакова, когда тот умолк. – Ну с Дарьей-то этой?

– А за Халзанова-то и пошла. Он, Ромка, ить босяк был, а главное, мужик. Казаку это доже непереносимо – свою дочерю за мужика выдавать, казачью кровь мешать с мужицким квасом. А Халзановы – род отменитый. И богатые были, как, скажи, полипоны, и служили исправно, боевыми геройствами завсегда отличались, а Халзанов Мирон так и вовсе ажник подьесаула на японской выслужил.

«Вот лицо казака, каким он был до революции. Темнота первобытная. Кровь! Из-за нелепых предрассудков да сословной спеси были вывихнуты жизни двух людей», – подумал Сергей.

– Что ж, она по родительской воле пошла, из-под палки?

– А это я не знаю, милый человек, чего и как она соображала, – ответил старик, помолчав. – Может быть, отцу покорилась, а может быть, и влопалась, про былую присуху забыла. Верно ить говорят, кошка – баба: кто последний погладил, к тому и ластится. Халзанов энтот добрый был казак: и статью, и лихостью – всем взял... кубыть, и по-бабьему делу... Ну вот и угадывай.

– А Леденев? – спросил Сергей о том, что ответа не требовало.

– Да что ж, обиду принял, стал быть. Она ить, почитай, его уже была – цветок-то лазоревый, на всем хуторе первая. Так-то будто бы и ничего – мало, что ли, красивых, да и жисть поперед лежит длинная. Да ить секли его у нас на сходе, Ромку-то, по энтому делу.

– Что значит? За что?

– Да вот слышал, а правда ли, не знаю. Кубыть, и спортил ее Ромка до венца, а может быть, намерился только, а тут как на грех случись рядом Гришка, брат ейный, и давай их обоих костерить на чем свет да Ромку за грудки – ну Ромка его и побил чуть не до смерти. Давно у них к этому шло. Ромка, он ить до чертиков гордый, а Гришка ему – ты, мол, хам, про сестру и думать не моги. Мы – казаки, хозяева, а ты – гольтепа, гужеед, навоз тебе копать. Взыграло ретивое. Ну и прибегли за ним Колычевы к нам в Привольное – отец, атаман, да Петро, старший брат, – поймали Романа в степу и на сход. Да по пути, кубыть, арапником отделали. Иной, может, после такого удовольствия вовзят бы Богу душу отдал, да Ромка крепкий. Тело что – заплывет, а на душе рубцы остались, сердцу в кровь засекли ему.

– Разболтался ты зараз чегой-то, старик, – сказал взводный Хлебников, подслушивавший чумаковский рассказ. – Узнает комкор об твоей откровенности – язык укоротит.

– А то ему нету забот окромя. Он до меня теперь, кубыть, не снизойдет – уже и не вспомню, когда крайний раз с ним гутарили. Да и так-то – быльем поросло. Уж сколько годков заследом легло, да каких: кровями народ изошел. Был Ромка-подпасок, а нынче вон – Роман Семеныч, красный генерал.

Сергей поднялся от костра и двинулся в глубь кирпичных казарм – искать самого Леденева... Тот резко сел среди спящих, жутковато бездвижных бойцов и во всю силу легких, произвольно-судорожно выдохнул. Посмотрел на Сергея невидяще, будто то, что приснилось, внутри него все продолжалось:

– Ты чего, комиссар? Не спится?

– Да уж как тут уснуть. Разговор есть. Сейчас, – потребовал Сергей придушенно, остерегаясь разбудить людей.

Не говоря ни слова, Леденев поднялся на ноги, накинул полушубок и пошел между спящими. Сергей последовал за ним в пустую комнатку.

Комкор повозился у натопленной печки, поставил на стол большой медный чайник.

– Вон пачка, вон стаканы, – сев за стол, навалился на локти и поднял на Сергея взгляд.

– Аболин где? – выдохнул Сергей.

Глаза Леденева не выразили ничего: на миг Сергеем показалось, что тот и в самом деле давно уже не помнит ни о каком Аболине – еще одной своей копытной вмятине.

– Или как его там, товарища вашего? – не вытерпел Сергей. – Извеков? Ну?! Где?!

– Ты что же, не видишь – все время куда-то деваются люди. Подешевел человек за войну – ни креста над могилой, ни имени, ни воздыхания.

– Хватит! – хрипнул Сергей, не чувствуя ни страха, ни восторга вызова – одну только злость и омерзение к себе, не весящему перед этим человеком ничего. – Вы его... отпустили!

– Ну отпустил, – уронил Леденев вместе с пригоршней чая в стакан. – Дальше что?

– А дальше, что ж, вам за такое – ничего? И совесть молчит? Так и надо? Врага непримиримого... пускай опять нас бьет? Потому что товарищ ваш старый? А вот они все – кто же? не товарищи?

– Ты хоть что-нибудь делаешь сам по себе? Хоть раз в жизни делал? – Леденев посмотрел на него поверх дымящейся струи из чайника, и немигавшие глаза Северина под этим скучающим, всего про него уже понявшим взглядом начали подтаивать. – Не так, как тебе партия приказывает или ты думаешь, что совесть революционная тебе велит, – с кем по-людски ты должен обходиться, кого, наоборот, за человека не считать? Не так, как в книгах поступать предписано? Бывает же такое – жалко человека, пришелся тебе по сердцу, и все тут. Тебе – казни, а у тебя нутро не принимает. Или наоборот, вроде свой, а такая паскуда – ажник нечем дыхнуть рядом с ним. Ну хоть срьешь-то ты сам? Как захочешь? Иль, может, тоже по часам? Хотя уж тут по нынешнему времени как раз приходится терпеть: хошь не хошь, а с коня не слезай, не смей орлом садиться в чистом поле: казак наскочит – быть тебе без головы. Да еще и в говне. Вот и вся диалектика.

– Вырвать такое сердце, которое долга не помнит. Что ж, если человек подчиняет себя революции, то он уже и не свободен? Что значит «сам – не сам»? Да я, если хотите, разве только родился не сам, а дальше все сам. Сам пошел в революцию, в партию, добровольцем на фронт. И партия прикажет – сделаю, потому как поверил и знаю свободным умом: врагов надо уничтожать. Таких, как он, непримиримых. Не слепо, нет, а именно что видеть, кто перед тобой. Вот есть у нас такой боец, Монахов Николай, так он у меня на глазах вчера убил пленного. Скальп, скальп с него снял, то есть кожу отрывал от головы... И я его должен судить – отдать ревтрибуналу. Но у него такие ж казаки убили жену и ребенка – он мстит.

– Кому мстит? – Тут Леденеву будто стало любопытно. – Всем казакам, какие есть?

– Не всем, а вот именно тем. Узнал он того казака – и о других его пытал, о палачах, которые там были, в его родной Большой Орловке. И как судить его, не знаю. По букве закона или по совести.

– Ты смотри, – в первый раз за все время Леденев поглядел на него будто и удивленно, – а я-то думал, у тебя нутро бумажное. Навроде чучела, газетами набит – что Троцкий в газете напишет, то к сердцу тебе и прилипнет.

– А у тебя она какая, душа-то? – Впервые Сергей сказал ему «ты». – У него всю семью убили – и не такие ли Извековы? Решили: восставшему хаму нет места на земле и детям его тоже. А ты – отпустить? Нет революции, Монахова в ней нет, а что твоей душеньке мило, то и есть революция? И все перед тобой трепещут – Бога нет, а ты есть? А я не буду трепетать и молчать не буду, слышишь? Они за тебя свою кровь проливают, да и не за тебя, а за народ, за счастье его, а ты их и не видишь, своих же бойцов. А кто ты такой? Народ тебя вознес, полюбил

за талант – и что, все позволено? Нет, даже тебе позволено не все. Тем более тебе! Иначе это уж не революция, а диктатура одного. Да и не диктатура – пакостничанье.

– Ты спрашиваешь или обвиняешь? – спросил Леденев, пододвигая к Северину налитый до краев стакан, как будто вне в зависимости от ответа готовый разделить с ним этот чай. – Тебя зачем ко мне прислали? Грехам моим учет вести?

– А ты не грехи! – непроизвольно рассмеялся Северин и с облегчением признался: – Да, учет! А ты как хотел? Ни перед кем отчета не держать?

– Что ж, до сих пор не рассудили – нужен я революции или более вреден? – На твердо спаянных губах комкора проступила какая-то ребячески-наивная, недоуменная улыбка.

– Каждый день революция заново судит, – отчеканил Сергей, подбодренный вот этой растерянной, как будто и просительной улыбкой, казавшейся столь не присущей Леденеву.

– Ах вот как. А у кого бы эти самые бойцы вчера в метель на вал пошли?

– Так что, и все позволено?

– А ты мне запрети, – посмотрел на него Леденев, даже не презирая. – Прикажи, арестуй, зоб мне вырви, как Извеков хотел. И бери мои орды, за Дон их веди. Ну вот и выходит: каждый нынче у нас позволяет себе ровно столько, сколько вынести может. Власть ведь, брат, никому не дается – берут ее. А не можешь ты взять – по себе и не меряй.

– Так за что ж ты воюешь – ты, ты, Леденев?

– Да кубыть, и понятно, за что я воюю, коли уже воюю. Однако ж правда человек не лозунг – свобода, равенство и прочие права. Хоть кого поскреби – каждый эту свободу на свой лад понимает. Советская власть нам что посулила? Что каждого из нас услышит и учтет, кто раньше был ничем. Ну вот и послушай меня, а то ведь без меня и революции-то никакой не выйдет, тоже как и без каждого. А про Извекова забудь – пропащий он. Мы-то за будущую жизнь воюем, а он за прежнее свое хорошее житье, которое мы без возврата прикончили. Так что либо не жить ему вовсе, либо уж на чужбине, без родины.

– Вы совершили преступление, – упрямо сказал Северин, сам не чуя весомости собственных слов.

– Ну так донеси на меня куда следует. Тем, кто тебя ко мне прислал. Признаться, парень, не ждал я такого, как ты. В обиду не прими, но уж больно ты молод. За какие ж такие заслуги на корпус поставлен, да еще к самому Леденеву? Ты людей убивал?

– Вчера рубанул одного, – сказал Северин, озлобляясь. – Не знаю – может, и до смерти.

– А я уж было думал: ты в губчека какой служил. Там-то и отличался – людей на распыл пускал. Вон у тебя на контру нюх какой... Ты себя береги.

– Это как понимать?

– А так, что тебя, может быть, лишь затем ко мне и прислали, чтобы в первом же бою прибрать. Вот приберут и спросят с меня тут же: куда это ты, деспот, комиссара подевал?

– Вы это всерьез? – не поверил Сергей, как в то, что собственный отец точит нож на него.

– Ростепелью пахнет, – сказал Леденев как безумный, перескакивающий с одного на другое. – Не удержит коней лед в Дону. Не пришлось бы до весны топтаться на этом берегу. А люди-то, вишь, перемаялись – и как же их, таких, вести? Вразнос пошел корпус, дорвался до водки и баб. Давай, комиссар, помогай своим воспитательным словом, а то ведь заспимся – и корпуса уже не соберем. Да Мерфельда найти – пропал куда-то.

«А ведь и вправду я предубежден против него, – раздумывал Сергей, пробираясь меж спящих. – Заведомо настроен: Леденев – скрытный враг, пока что сам себя не понимающий... Да если б меня в Москве не настроили, давно б уже собачьими глазами на него смотрел, как Мишка Жегаленок. Разве мог бы судить беспристрастно? Ну а что же я вижу? В сутки город забрал. Сто орудий, шесть танков. Кто еще бы мог так? Да, он любит власть, да и не любит, нет, а состоит из власти. Да, своеволен, дик и не отсек былых своих привязанностей. Но чего еще ждать от вчерашнего царского вахмистра? Свобода и власть в руках столетнего холопа –

это штука не из легких. Вот так же и шахтера достань из-под земли – так он и ослепнет от солнца, ощупкой пойдет. Колодки с каторжника сбей – на четвереньках, зверем ползать будет. Когда еще научится ходить по-человечески. И у кого из нашего народа не разбитые ноги. Ведь пороли его – до сей поры спина горит. Унижение-то и загнало его в революцию. Ничем не ограниченная, не взнузданная воля. И надо загнать пар в котел. Забрать стихию в топку, в машину высшей цели, как электричество в стальные провода. Иначе же он сам себя сожжет...»

Сергей насквозь прошел кирпичную казарму и с наслаждением вдохнул сырой и пресный воздух. Ему и самому хотелось в город – увидеть Зою, милосердную сестру, и словно убедиться, что та не приснилась ему, и вправду на него обрушилась, внимая ожиданию одинокой души.

Спали под навесом, в телегах. Поозиравшись, Северин увидел серую фигуру и узнал в ней Монахова: тот двигался меж спящих неестественно беззвучно, не знающим успокоения и устали пришельцем из другого мира, обреченным скитаться в бескрайней степи – меж людей, у которых есть будущее. Вот он склонился над подводой, коснулся чьего-то плеча, и с подводой поднялся высокий, широкоплечий человек в защитном полушубке, нахлобучил папаху и будто под конвоем двинулся к конюшне.

Сергея взяло любопытство: прижимаясь к стене и скрываясь в тени, по краешку он пересек пустынный плац и, как в детских разбойничьих играх, подкрался к пустому станку.

– Слышь, земляк, дуру-то убери, – донесся из станка ленивый, сонный голос, – а то как бы я тебя не стукнул в горячах.

«Это что у него? Револьвер? – жигануло Сергея. – Вот так сдал все оружие!»

– Ты в белых был? – ответил Монахов вопросом.

– Ну был, – зевнул неведомый Сергею человек. – Ты-то сам кто таков?

– А тот, кто сразу с красными пошел.

– Вона как. Да только Советская власть и нам грехи скощает будто. Не мстит казакам-хлеборобам, каких генералы сманули, – слышал про такое?

– В Большой Орловке тоже был?

– И там был, – приглух отвечающий голос.

– Землей мужиков наделял, – подсказывающе надавил Монахов.

– Что был, не скрываю, – дрогнул голос в обиде и злобе. – А чтобы казнить... На то ведь охотников кликали.

– А не зятек ли твой Матвей Халзанов, сотник, выкликал?

«Колычев», – догадался Сергей.

– А ты кто таков, чтобы спрашивать?!

– А тот, кого вы там землицей оделяли. Вот зараз явился тебя поспросать.

– Стреляй. Мертвяки, я слышал, разговорчивые. Аль думаешь, на мушку взял – так я перед тобой и исповедуюсь? Ошибочка, товарищ. Привычный я к энтому делу, давно уж пужаться устал.

– Ну издыхай тогда без покаяния!..

Сергей уж было крикнул, но монаховский голос толкнул его в грудь:

– Скажешь – нет? Халзанов, он всем заворачивал?

– А ты в глаза его видал?

– Ты видал, коли родственник твой.

– Сотней нашей командовал он, а стояли мы целым полком. А что казаки озверились, так не его вина и не ему было сдержать. Кубыть и вы нас не особо миловали, а? Кто стариков-то наших на распыл водил, кто пленных рубил да казаков, какие об ту пору по домам сидели? Кто красного кочета в курени нам пускал? Ну вот и вышло – кровь за кровь. Заглотулись мы ею, и наши, и ваши. Чего же теперь – так и будем квитаться, пока хучь один шашку сможет держать? Так ить переведем друг друга начисто, гляди, и на семя никого не оставим.

– Я ваших ребятишек не давил и жен не насильничал.

– А я будто да?! – давясь не то слезами, не то смехом, всхлипнул голос.

– И где же он нынче, Халзанов твой?

– А ты поищи среди нас, – заклокотал, затрясся в смехе отвечающий. – Кубыть, и найдешь тут вот, под арбами.

– А ежели без шуток?

– Да какие уж шулки? Вишь, как она, жизнь, чудно поворачивается: ишо энтим летом могли с тобой цокнуться, а зараз обои идем за Советскую власть. Гляди, ишо и спину мне прикроешь аль я тебя от смерти отведу.

– Халзанов – где? – повторил Монахов как машина.

– Спроси чего полегче, – ответил голос глухо. – Нет его, зачеркнул сам себя – на такое уж дело пустился. А не веришь – тебе же и хуже. Все одно окромя ничего не скажу.

XII

1911-й, станция Багаевская Черкасского юрта, Область Войска Донского

Война влекла Халзанова сильнее всего на свете. Сыздетства ненасытно впитывал рассказы стариков о давнишних походах: как рубили под Ловчей баснословные полчища башибузуков, среди которых попадались черные, как ночь, словно сам сатана вызвал их из кипящей смолы на погибель всему христианскому миру, на свирепых конях, грызущихся промеж собой, как дикие собаки, с поводьями, униженными человеческими ушами, как сушеными яблоками, с отрезанными головами, притороченными к седлам, – но какое же войско, хоть трижды будь адово, супротив казаков устоит? Как осаждали Плевну на глазах самого государя – и тысячами солнц скакали по горам и застили весь свет слепящим полымем гранаты, рождая такой трус и грохот, какого и гора Синайская не знала, никакие народы пред лицом Господним. Как покоряли снеговые перевалы, карабкаясь по каменным утесам, гладким как стекло, замерзая, срываясь и падая в пропасть так долго, что удара о землю уж было не слышно и даже не видно, словно в недра колодезя упорхнул палый лист. Как истребляли горские аулы с генералом Баклановым, которого не брали ни булат, ни свинец, а сам как рубанет – коня напололам.

На долю каждого в халзановском роду выпадала большая война или служба среди диких племен. Прапрадед Митрий отражал нашествие Наполеона и доходил до самого Парижа, о чем свидетельствовали три благоговейно сберегаемые, давно уж потускневшие от древности тарелки голубоватого фарфора, с круглых донцов которых смотрели жеманные, в одном как будто бы исподнем, полуголые красавицы. Прадед Федор ходил под баклановским знаменем, где, как в изножии распятого Христа, нашиты были голый череп и скрещенные кости. Дед Игнат был в турецкой кампании, заслужил два Егория и лишился руки, отпиленной по локоть полковыми врачами. Отец, Нестрат Игнатыч, гонялся за персидскими контрабандистами, а брат Мирон всех превзошел.

За отличную службу в полку был удостоен направления в офицерское училище в Новочеркасске, одолевал учебу наравне с дворянскими сынами и, невзирая на глумливые потешки, одолел, был выпущен хорунжим и отправился в Маньчжурию. В войну с японцами ходил по вражеским тылам, был в знаменитом конном рейде с генералом Мищенко и вернулся домой целым подьесаулом, с офицерским Георгием, «клюквой» на шашке и даже правом личного дворянства.

Матвей торжествовал за брата и ощущал, как эту радостную гордость подтачивает чувство, похожее на зависть и обиду: уж не поздно родился ли – на его долю будет война?

Вся будущая жизнь была ему ясна, как звездный шлях при чистом ночном небе. Покрыть себя славой небывалых геройств, возвысив казачий свой род, служить царю, рубить его врагов, а потом или пасть смертью храбрых, или уж умереть от усталости жить, передав сыновьям свое честное имя.

А Мирон о войне говорить не любил и, только уступая настойчивым Матвеевым расспросам иль подвыпив, начинал рассказывать:

– Узкоглазые они, японцы, вроде наших калмыков. И волос на лице, как у бабы, так, усишки одни. На вид больше щуплые, но тягущие. И церкви в том краю калмыцкого манера – в три яруса крыши и стрехи кверху загнуты. Наскочили мы как-то на их батарею – и остался один офицер, на колени упал перед нами. Мы думали, сдастся, а он как закричит по-своему да как выхватит шашку – попоролся от левого бока до правого. У их офицеров, говорят, так

положено: в бою не устоял – должен сам себя смерти предать. Без чести не жизнь. Да только вот думаю я: честь-то честь, а с другой стороны поглядеть – ведь дурак.

– Это как же? – изумлялся Матвей.

– А никак не постигну: из-за чего мы с ними воевали. Мы ведь и в глаза друг друга не видали и не увидели б до самой смерти, а вот кто-то взял, подтянул нас одних к другим и скомандовал: «пли!» А чего нам делить? Он у меня, японец, чего-нибудь украл или я у него? Или тесно нам жить на земле? Им, японцам, положим, земли не хватает – на жалких островках судил им Господь обитать, а нам что ж, государю нашему – нешто мало России? В эшелоны наш полк погрузили: сутки едем, неделю, другую – без конца и без края земля. Вдвое больше народу, чем сейчас, наплодится – все одно будет вволю и лесов, и степей. За три века не вспашешь, а в горах – и железо, и уголь, и медь, и чего только нет. А за голые сопки с японцем сцепились. В чужом краю поклали свои головы, народу сгубили бессчетно и назад отступили ни с чем.

Чудно было слышать Матвею такое:

– Не все одно, кого рубить? Царев приказ вышел – вой. Хучь турка, хучь японца.

– Кого рубить, быть может, и без разницы, а вот за что – совсем другой вопрос. Одно дело – за землю родную, за веру отцов. Хоть за пищу, как звери, – ниспошли Бог на землю невиданный голод. А на что нам те сопки? Зачем чужой земли искать, когда свою устанешь мерить? Нас на том конце мира побьют, а тут будут матери выть да бабы вместо сгинувших кормильцев в хозяйство впрягутся? Я, если хочешь знать, вот с этими вопросами чудок под суд не угодил. Так же мне говорили: «Ты казак, твое дело – рубить». Да только я, брат, не говядина, чтоб на убой бежать куда пошлют. А мне: «Молчать, отставить разговоры. Не твоего ума, служивый, дело». А их ума на что достало? На то, чтобы народ переводить?..

Но Матвей уже будто не слышал, все братовы вопросы смахивал с себя, как жеребец липучих мух и мошкар, мотая головой и бья копытом. До действительной год оставался ему... Тут-то бабка Авдотья и надумала внука женить.

Халзановы не первые в станице богачи, но все же отменитые. Породных лошадей косяк, быков восемь пар, десяток коров, под сотню овец. Курень под железом, в шесть комнат. Земли полсотни десятин. Нанимали работников – сеять, косить, убирать. Но мало кто в Багаевской догадывался, что заправляет всем этим хозяйством не Нестрат – благообразный, как старообрядец, казачина, – а Нестратова мать и Матвеева бабка, Авдотья. Дед Игнат был уже как дитя – и внуков-то, бывало, в упор не узнавал, – а она намотала незримые вожжи всей халзановской жизни на свою еще крепкую руку, помыкая и сыном, и внуками, словно коренником с пристяжными.

Матвея к себе призвала:

– Тут, внучек, вот какое дело. Посоветовались мы с батяней твоим и решили: вошел ты, милый мой, в свои лета, и одному на свете проживать уже зазорно трошки. Довольно тебе на игрищах баловаться.

– А служба как же, бабуня?

– Так в ней все и дело, чадунюшка. Уйдешь – и поминай как звали. Пустое место по себе оставишь. Мирон с семейством отделился, отец твой в летах – сколько ишо годов Господь ему отмерит, кто же знает. В дому завсегда должна быть хозяйка. Ить в ахвицеры метишь, как и брат твой. С действительной рази домой возвернешься? Оно ить, ахвицерство, нескоро дается. У Мирона-то двое уже, погляди. Ему теперь можно служить. Он на чужбине казакует, а семья его растет. В старину-то ить сроду парнями казаки служить не уходили. Брат-то твой на войне побывал – жив остался, уберегла его Заступница. А ежли ишо какая война на твою долю выпадет? На ней ить головы кладут. И что же – Бог тебя храни, – детишков не оставишь? Так ить и род переведется.

Ну бабка Авдотья! Наказала подумать, а сама уж невесту сыскала – указала: в Гремучий езжайте, у тамошнего хуторского атамана дочка в аккурат на выданье. Семейство почтенное, справное, породниться с таким не зазорно, да и девка, слыхать, всем взяла...

В Гремучий Матвей поехал с тупым равнодушием: ну окрутят с какой-нибудь – так венец не собачий ошейник, человека с ружьем не приставят, чтоб не давал тебе к другим притрагиваться. На девок он многих заглядывался, с жалмерками путался, но чтобы одна присушила его – не случалось такого.

Сидевший истуканом, поглядел на Дарью – от ответного взгляда заломило в груди, как студеного воздуха на Крещение глотнул. А у нее уж и вишневый сок на скулах проступил – и от стыда, и от того, что увидала, какое восхищение в нем вызвала...

Через месяц стоял рядом с ней в переполненной церкви, давил восковой стебель свечки в руке и ощущал себя, как упряжная лошадь в шорах. Левая половина мира была отгорожена непроницаемой завесой – подвенечной фатой. И не то было боязно, не то, наоборот, напрокол жгло желание сдернуть газовую занавеску. И еще одна мысль – где-то в самой середине – безотступно точила: а вдруг нечиста? Угадал, что не в нем Дарья видела мужа, что не он, обвалившийся свататься, а другой потянул эту девку к себе, как колодезным воротом, и ночами не шел у нее из ума, когда его, Матвея, еще не было. Да и что тут гадать – Гришка все рассказал, новоявленный будущий шурин. До венчания синий ходил, хорошо, голова не проломлена – кто же это его убивал? А мужик тот, Роман Леденев, – на скачках с ним пришли ноздря в ноздрю. На скачках наравне, а с Дарьей как? Вдруг уже не догонишь? Вдруг у девки взял то, что Халзанову, мужу, положено? Кому об том доподлинно известно? Только ей да ему, Леденеву...

От знакомства до церкви он виделся с невестой всего несколько раз, и ни единого живого слова они друг другу не сказали до сих пор. В ней все отзывалось на его испытующий и оценивающий взгляд: снегириным румянцем загорались высокие скулы, руки сами собой теребили завеску, под кожей слышно вздрагивала кровь, глаза стыдливо потуплялись и прямо взглядывали вновь, твердо сжатые губы нет-нет и трогала усмешка над неестественностью их взаимного мучительно-тягучего молчания, но Матвей ясно чувствовал какой-то притаенный холод отчуждения, идущий от нее, как от горячей в солнцепек земли, леденистой в глуби, на дне пятисаженного колодезя.

Это не было страхом перед миром чужих, неизвестных людей, которые брали ее в свой курень, отрывая от матери, братьев, отца, это не было оцепенением перед самой глубокой переменой во всей ее жизни – перед событием, важнее которого – только роды и смерть. Это не было обыкновенной оглушенностью происходящим, хотя внешне ее омертвление ничем не отличалось от пришибленности всех других невест, которых он успел перевидать...

Стояли, ходили вокруг алтаря, не сразу сумел насунуть кольцо на палец жены, поцеловал ее в прохладные и неотдатливые губы, живую, как утопленницу... переливчатый звон бубенцов, летящие с конскими гривами по ветру разноцветные ленты... трещали и стонали под кованными каблуками половицы куреня, полосовала слух трехрядка, вворачивались буравами в душу какие-то зауспокойные взвизги гостей, на ухающих баб, ходивших в круговой, как будто кипятком плескали – и посреди всего вот этого неистовства ни живы ни мертвы сидели они с Дарьей, настолько же немые, неподвижные, насколько бешено и жадно радовались жизни все вокруг.

Когда Мирон – насилу прятавший улыбку дружка жениха – достал платок и протянул повенчанным: «Давай, беритесь за углы», повел в отведенную им, молодым, на ночь горницу, Матвей угрюмо думал все о том же: что делать с Дарьей, если та и вправду окажется нечиста?

Держался за конец платка, как малое дите за материн подол, и прислушивался сам к себе как к чужому: избыет? сгонит с базу – пускай идет куда глаза глядят?.. И озлоблялся на себя: так что же он до самой церкви промолчал, не сказал: девка сгубленная, не беру, – шел под венец, как ярмарочный косолапый за своим вдетым в ноздри железным кольцом? В надежде

– не тронул ее Леденев?.. А она что ж молчала, покоряясь родительской воле? Да не потому ли, что стыдиться ей нечего? Или ждет, что Матвей безропотно покроет ее стыд, побоится в страму ставить род свой, на весь свет сам себя ославлять? А что вусмерть забьет, не подумала? Каждый день ее будет втихара поколачивать, потаюхою в гроб загонять?..

Нет, он не мог вообразить, как схватит ее за волосы, саданет головой о косяк, повалит на пол, станет бить, вонзая кованые сапоги в податливый живот. Он еще на пороге у Колычевых, в самый миг, как увидел ее, догадался: неспроста загнала его бабка Авдотья сюда, неспроста эту девку подсунула – не найти ему лучше, чем Дарья, и не надо искать, по нему одному и была она вылита.

Самолюбивый страх мужского унижения боролся в нем со страхом оскорбить ее несправедливым подозрением, оттолкнуть от себя. Он даже понял Леденева – настолько хорошо, насколько вообще возможно понять другого человека, – и удивлялся только одному: почему этот сильный и гордый мужик отступился от Дарьи так сразу? Впрочем, сытый голодного не разумеет. Босьяк он, Леденев, – может, не захотел обнесчастить ее своей бедностью, нагрузить неизбыточной нуждой, изнурить в колотье за кусок для себя и детей. А честь ее взять – захотел?..

Застыла на пороге.

– Ну что стоишь? Входи. Чего уж теперь? – позвал он зачужавшим голосом.

Подступила к нему, глядя в пол. Не вытерпев, вклеился в руку, усадил на кровать с собой рядом. Сжалась вся, словно кошка под чужой, незнакомой рукой, даже голову в плечи втянула. Пересиливая отвращение – и к себе, и к тому, что боялся открыть, – он осторожно взял в ладони ее голову, попытался откинуть фату и, запутавшись, зыкнул:

– Да сними ты этот нарытник к черту! Глаза твои видеть хочу. Как он тут у тебя?..

Сдернул морочный этот подвенечный покров вместе с белыми восковыми цветами – бесхитростно прямой, бесстрашный в своей обреченности взгляд ударил ему прямо в сердце, и по одним ее глазам, расширившимся так, словно застыла на дороге перед парюю понесших рысаков, он тотчас понял, что она не тронута, и почувствовал стыд пополам с облегчением. Дыхание в нем вовсе пресеклось...

Ее безответно покорное тело казалось то ничтожно маленьким и слабым, и сердце заходило от страха что-то в ней сломать, – то, напротив, всесильным в своей нутряной глухоте, и Халзанову чудилось, что толкается в мертвую, на пять саженей в глубь настуженную землю. Но тут она вдруг вытянулась в струнку, задыхаясь от переполнения и хватая ртом воздух, словно выныривала из воды на самом стремени... И, загнанно упав лицом в подушку, не сразу осознал себя, а после, жадно всматриваясь в ее оцепенелое лицо, владетельно и неуклюже трогал ее полуприкрытые глаза, крался, шел по ее золотым в керосиновом свете рукам, словно зверь, проводящий межу по земле, отделяя свое от чужого. «Моя, моя...» – убеждал он себя, но будто бы и вправду улавливал чужой, нетленный, невыветриваемый запах, словно этот мужик, не забрав ее девство, все равно обокрал его. Остался в мыслях Дарьи той любовью, с которой она нянчилась, как с куклой, когда была еще совсем девчонкой, и сама вместе с нею росла. Как будто все, что он, Халзанов, взял и еще может взять у Дарьи на честных мужниных правах, предназначено было тому темно-русому парню с тяжелым взглядом светло-серых глаз, смотревших на Матвея с завистливой тоской и запоминающей ненавистью.

«Ничего, заживем – выбью, вытравлю этого мужика из нее», – говорил он себе... Проходили недели и месяцы – обрела наконец-то дар речи, а ему все казалось, что в законной их близости неотступно присутствует третий, что не ему, Халзанову, а мужику шепчут что-то бессвязное ее раздавленные губы, что не его, а мужика видит Дарья текучими, неуловимыми в блаженном помрачении глазами.

Неужели бывает такое – принимать одного, а нутром, сокровенной своей женской сутью открывать другому, оставшемуся за десятки верст отсюда, далеко за пределами зрения, чувств, повседневных потребностей? Да что же в нем за сила, в этом мужике? Разве он, Матвей, пор-

ченный, квелый, урод? Да он девок к себе подзывал, как собак – любая сорвалась бы, только свистни. Может, сила того босяка – это лишь чистота первородного чувства и тоска сожаления о несбывшемся счастье, только право рождения рядом, в одном с Дарьей хуторе? Чего ж такого у него, Матвея, нет? Это, наоборот, Леденев в чистом поле живет, за чужими конями приглядывает, а Халзанов – хозяин земли. «Вот каким должен быть настоящий казак», – говорят про него старики.

Мужик этот будто и впрямь стал тенью его – в ту самую минуту, когда их взгляды встретились впервые, – и куда бы Халзанов ни шел, оставался привязанным к этой нестираемой тени, которую отбрасывал до самого Гремучего, и не только кидал ее, но как будто и сам выплывал до прозрачности, отдавая тому мужику свою силу, невзирая на то, что с костями владел этой девкой, давно уже своей женой.

Однажды ночью в поле он не выдержал. Лежа с Дарьей в телеге голова к голове, глядя в вышнюю иссиня-черную пустошь, засыпанную в глубь по куполу мерцающей звездной полови, с тоскливым стоном вытянул:

– Ну хучь слово скажи.

– Об чем же? – дрогнула она.

– Да вот как жить со мною дальше думаешь?

– А как живем?

– Да как покойники на кладбище, хучь вроде и живые. Были долгие ночи, а все одно летаешь где-то. Мне до тебя, как вот до этих звезд – кубыть рукой подать, а не дотянешься. Тут, на груди, тебя пригрел, а сердцем не угадываю. Что же, можно так жить? Как же это терпеть, когда твоя баба вместо тебя другого в мыслях держит? Ложится с тобой, а все одно через тебя как будто с ним? А я ить не конь, не бугай – людская душа в меня вложена... Ну, что молчишь? Не бойся, скажи – бить не буду.

– Скажу, как есть, – ударишь, ой, ударишь, – засмеялась она.

– Да говори уже. Всю душу мне своей молчанкой высушила. Как любила его, так и любишь? Да только что же это за любовь такая, что под меня пошла навроде как овца, а он тебя, выходит, сам мне отдал? Любовь – так и сбегли бы, а мне – «пропади, разнелюбый». Чего ж он тебя не украл, чего ж ты за ним не пошла? Или нужду не захотела мыкать с босяком? Детишек рожать в лопухах, как собака?

– А и ушла бы – веришь, нет? Да только последний разочек, как виделись с ним, Гришаку-то, брата, чудок не убил. Глаза как волчиные сделались – я таким его раньше не видела.

– Ну так и ушли бы тогда. А сами друг от дружки отrekliсь – я же и виноват получаюсь?

– А Гришка-то там и бы помер? Брат ить все-таки мне. Испужалась я сильно. Кругом никого. До дому я кинулась, на помощь покликать. Ему одному и бежать. А дальше уж как? Нельзя было ему на хуторе показываться – батяня с Петром за Гришку пришибли бы. Такая, выходит, судьба.

– А ежели судьба, то и быть его, этого Ромки, нигде не должно. Ни здесь, – коснулся Дарьиного лба, – ни здесь, – накрыл ладонью тугой ее живот. – Либо я тебе муж, либо ступай отсель куда глаза глядят – ищи своего мужика в чистом поле.

– Куда же мне теперь идти? Теперь уж все – беременная я, – сказала как будто не собственной волей, с неслышанной им прежде умудренной, печальной и доверчивой покорностью, которая рождалась где-то в самой глубине накрытого Матвеевой ладонью живота.

– Чего? – переспросил он, чтоб хоть что-то сказать.

– То, то... Старался ночами, забыл? – Она лежала неподвижно, глядела в безмолвную и недоступную звездную прорву. – А что Ромку забыть не могу, так в этом вправду ты и виноват.

– Вот так голос! При чем же тут я?

– А похожи вы с ним.

– Это как же?

– Душа в вас одинаково показывается. Иной раз в глаза посмотрю – ажник страшно становится. Кубыть, и не ты, а он поглядел.

– Ну, баба глупая! Душа! Ты, может, видишь плохо либо вовсе слепая? Да и слепые, говорят, не хуже отличают. Лицо-то каждому свое дается, да и голос. Халзанов я, Халзанов – ни с кем не перепутаешь. Как коршуна с селезнем, как тебя со старухой. Глаза себе им, Ромкой, застелила, а меня и не видишь, какой я. Обидно трошки, а?

– Ну и не слушай ты меня, глупую бабу. Одно твердо знай: теперь уж не денусь от тебя никуда.

– Дитем присушил?

– А ты думаешь, что – понесла бы, ежели б не захотела? – засмеялась она с высоты своего непонятного женского знания. – А Ромку забыть не могу – ты в этом меня не неволь. Не сохну по нему, не думай. Отрезанный ломоть обратно не прилепишь. Виноватая я перед ним: надежду подавала. Озлобился он. И раньше-то волком смотрел на казаков, а как ты объявился – вовсе бешеный сделался. Гришку чуть не зашиб – уж так бил, так бил... Что секли его, знаешь? В степу у табуна батяня с Петром изловили. На сход привели – весь хутор высыпал смотреть.

– За Гришку, что ль? Так, стало быть, за дело.

– За Гришку, за меня... что спортить хотел. Чтоб на казачий каравай не зарился, ветку гнул по себе. Такое-то в обиду не принять? И думать боюсь, чего сделалось бы, когда бы вместо Гришки ты ему попался. Оскорбил ты его.

– Это чем же? Чего я у него украл? Тебя, что ль? Или я виноват, что босяк он? Ты бедняк – так, может быть, и я тогда должен от добра своего отказаться, колесной мазью рожу себе вычернить? Со мною, казаком, желаешь поравняться? Ну так и дотянись до нас, до казаков, – работай, служи. Наш род, халзановский, ить тоже не сразу в энту землю врос. Да и Мирон вон офицером не родился. А ежели ты палец о палец не ударил, чтоб выйти из нужды, то как же тебе со мной равно жить? Да ежели каждый так обидится и волком жить начнет, какой тогда порядок будет? – вопрошал и ответа не ждал.

Признание жены не то чтоб потрясло, а именно что прояснило душу, и он уже не понимал, как мог этот мужик безотступно владеть его мыслями, угадываться в Дарьином бессвязном бормотании, ощущаться на коже ее, на губах вместе с запахом горького ветра, парного молока и клеверного сена.

Матвей наконец почувал себя на свободе. Под уходящей ввысь и ввысь несметью звезд, как будто бы звенящих и окликающих друг дружку, мерцающих так густо, что места мертвой черноте уже не оставалось, рука его покоилась на дышащем заслоне Дарьиного живота, ощущая сквозь плотность холстинной занавески тишину и покой потаенного роста. Только это и было всей явью, недоступно далекой, непонятной, как небо, и умещающейся под одной его ладонью, – а мужик, Леденев, не имел к этой яви никакого касательства. С таинственной своей неведомо чем на Матвея похожестью, на которой настаивала, как будто бы сама себе не веря, Дарья, мужик наконец зажил сам по себе, затерянный где-то в ночной непрогляди среди мигающих кумачных крапинок костров, – уже не человек и даже не тень, которая слилась со всем бездонным мраком, где и было ей самое место. Матвей волновался уже о другом.

Мать его умерла родами дочери, когда ему сравнялось девять лет. Родившаяся девочка не прожила и года – беззубый, сморщенный шафрановый червяк с похожими на ящерицы лапки ручками и ножками. С тех пор вид беременных всякий раз вызывал в нем то детское чувство сиротливой беспомощности и трепетного страха перед смертью, перед возможностью ее в ту самую минуту, когда должна возникнуть новая, неведомая жизнь.

Воображать творящуюся в женском существе работу Халзанову было мучительно: человеческий плод высасывал из тела матери все соки, безмысленно и жадно, как трава из земли, вытягивал кровь, румянец с лица, иссушал, слепо рос, беспокойно ворочался, а в положенный срок так и вовсе казнил лютой мукой – каково же им, бедным, было жать из себя что-то уж

невместимо огромное, больше самого чрева. Имей Халзанов над собой такую волю – и вовсе бы не прикоснулся к Дарье, чтоб не мучить безжалостным скрутом нутра, чтоб не слышать сверлящего душу безобразного крика ее.

Когда живот у Дарьи округлился, бесстыдно и бесстрашно-обреченно выпер в мир, а к похудевшему лицу пристыло выражение прислушливой, богомольной покорности, взгляд странно проясняющихся, отрешенных глаз все чаще начал обращаться внутрь себя, как к небу, Матвей вдруг понял всю свою ничтожность в сравнении с тем вечным, обыденно-простым и вместе с тем необъяснимым, что уже началось для нее и с чем ей предстояло совладать в одиночку.

Она со все большим трудом носила свое располневшее тело, держась за поясницу и с нескрываемой гримасой напряжения подволакивая то одну, то другую непослушную ногу; остановленная неожиданным подсердечным ударом, приливом боли в животе, хваталась за плетень и косяки, чтоб устоять. Порой по целым дням лежала на кровати, такая с виду слабая, что ей уже, казалось, не подняться, а по лицу ее, преображенному, проходила легчайшая рябь самых разных, переменчивых чувств, вызываемых связью с дитем: то тревоги и страха, то боли, то, казалось, напротив, признательной радости и мечтательного любования, словно уж различала лицо и улыбку того, кого носит под сердцем. А он, Матвей, теперь уже не нужный, необходимый в этом деле только на одну ничтожную минуту, не мог взять на себя хотя бы маленькую часть ее работы и даже близко к истине понять, что с нею происходит.

С первым снегом пришло извещение – Халзанову Матвею явиться в сборный пункт на третьи сутки Рождества. Подошел срок действительной службы. Облитые глазурию солнца и синевой безоблачного дня, нестерпимо сияли зеркальные волны сугробов. Холодный диск светила в вышине переливался радужными кольцами. По ледяной равнине Дона с шипеньем вились серебристые змеи поземки. Подымавшийся ветер перевеивал колкий крупитчатый снег, закручивал по улицам жгуты искристой снежной пыли, вздымал по буграм кипящую белую мусть, но снежные просторы степи были светлы и чисты до самых горизонтов.

Похрапывал и фыркал на базу гнедой Алтын, беспокойный и злобный дончак-шестилеток, цвет и гордость халзановского табуна. Матвей с отцом перебирали справу: седло с окованными луками и зазубренными стремянами, с коричневыми саквами и задними сумами, наборную уздечку, потники, попону, шипастые подковы, ухнали две пары сапог, две шинели... а из горенки варом тек Дарьин раздражающий вой. Кричала так, словно кусками отгрызали внутренности, ноги: «Ой, не могу! Ой, смерть!..» – и Матвей проникался таким отчаянным, щемящим страхом за нее, что и на волчий голос нельзя перевести, но и ощущал необъяснимую покорность и даже свою непричастность к тому, что совершалось там, за дверью.

Когда же взвинчивающий Дарьин крик, дойдя как будто до последнего предела напряжения, наконец оборвался, Матвей не мог поверить собственному слуху, боясь пойти и расспросить, чем кончилось.

Бабаня с повитухой допустили его к Дарье лишь под утро. Без кровинки в лице, она непонимающе взглянула на него опухшими, потусторонне-задичавшими глазами, признала и смотрела, уже не отрываясь, желая и не в силах улыбнуться. А потом он услышал настойчивый, неугомонный, повелительный крик непонятно откуда возникшего нового, будто еще не человеческого существа, ничего не терпящего, не понимающего и ни с кем не желающего договариваться. Все должны были нежить его, согревать и кормить, по первому же требованию засовывая ему в рот сосок, а он только и знал что требовал и того, и другого, и третьего, до режущего визга оскорбляясь на малейшее пренебрежение к себе.

Ничтожно маленький, он был цвета вынутого из горна железа, остывающего под слоем окалины и пепла, – казалось, вся Дарьина кровь перешла в пылающее тельце с морщинистыми скрюченными лапками и белесым пушком вдоль спины. Головенка, поросшая, как кукурузный початок. Прижатые уши, нос пуговкой, беззубый рот с широким языком. Зеркально-синие

глаза глядят с таинственной спокойной умудренностью, с такой снисходительной важностью и как бы властительной скукой, как будто парил в недоступных надзвездных пределах великие тысячи лет, а потом уж явился на эту голубую и снежную землю.

Матвей со странным чувством отчуждения и с шиплющим волнением смотрел, как сын шевелит складчатыми ручками и потирает задом крошечных ладоней свои непроницаемые синие глазенки. Понять, что вот он, его сын, что скоро они с Дарьей как-то назовут его, было выше халзановских сил. Жить дома ему оставалось одиннадцать дней...

Почувевшая Дарья выпрастывала из рубахи каменную от избытка молока бело-желтую грудь, давала Максимке сосок и вздыхала:

– Да будь она проклята, служба твоя.

– Ну не на век же ухожу. Моргнуть не успеешь, как в отпуск приду.

– Старики про войну говорят. Второй уж год в станице одни казаки нарождаются. И у Нюрки Матвеевой, и у Глашки Сакматовой двойня. И в Гремучем у нас, и по соседним хуторам. Верный знак – быть войне.

– А ты стариков больше слушай. Сколько живу, столько и слышу: будет мор великий, будут в небе железные птицы летать и людей, как арбузы, расклевывать. Им, старикам, уж помирать пора, чувствуют, что скоро в землю, – вот и нас, молодых, туда тянут, страшной смертью пугают. Видать, уж очень им желательно, чтоб остальные тоже света божьего невзвидели. Всё гробовой доской накроется – тогда и им, должно быть, помирать уже не так обидно. Всё страх перед Богом наводят, неправильно живете, говорят, а сами будто не бесились смолоду. Кого ни возьми – что ни жадней к грехам прикладывался, тем крепче за Бога под старость хватается да Страшным судом всех страшает. Доживем мы с тобой до их лет – тоже будем пугать молодых, а они нам смеяться... А война – что война? Тоже жизнь. Даже, может, и краше еще... А вот так – много ты понимаешь...

В третий день Рождества, на морозном рассвете он заседлал храпящего Алтына, поцеловал Максимку в лобик и метнул себя в седло. Окинул взглядом баз и будто кованный из серебра курень. И резные балясы, и окна, заросшие инеем, и жестяные петухи на крыше, и сарай – все показалось ему маленьким, игрушечным даже.

Дарья молча пошла, ухватившись за стремя и смотря на него снизу вверх. Из соседних дворов выезжали казаки-одногодки, дружки, ревниво сличая чужих жеребцов со своими.

– Никак с собой жену надумал взять? – насмешливо крикнул Матвею Федот Коновалов, и Дарья рука покорно отпустила стремя.

XIII

Январь 1920-го, Новочеркасск

Вместе с красной ордой прикочевала в стольный град Донского Войска неожиданная середь Рождества, парным солонцеватым духом крови дышащая ростепель. Пьяным запахом шалой весны потянуло по вымершим улицам. Запарились подтаявшие, набухшие споднизу пресной сыростью сугробы, и мокро зачернели оголившиеся мостовые, зазвенела по жести капель, загремели, срываясь, сосульки, заручилась вода, полня улицы клеткотом... И вместе с этим пьяным запахом, стеклянной звенью, клокотанием, вместе с известием о том, что Первой Конной взят Ростов, во всех трех бригадах леденевского корпуса как будто распрямилась сжатая пружина, и вместе с тальми ручьями выхлестнулись в улицы потоки леденевцев, ломаясь прибывающей поллой водой в ворота и двери домов, выплескивая, низвергая с верхних этажей обломки сокрушенного домашнего уюта.

Перед глазами у Сергея на мостовую рухнул целый мюльбахский рояль, исторгнув смертный взрыд и выпустив наружу извитые обрывки лопнувших, конвульсивно трясущихся струн.

Еще не раскисли продолговатые рубцы могил, еще не закопали всех расстрелянных за оставление позиций, пьянство и шатания, как толпы живых, распоясанных уже вовсю творили то, за что Леденев лишь вчера приговаривал к смерти. Разбивали пакгаузы, склады, ворота винных погребов, дырявили цистерны спирта из винтовок, высаживали днища из огромных бочек с драгоценными винами, подставляли под бьющие струи котелки, ведра, пригоршни, шапки, взбирались на цистерны зачерпнуть и, опрокидываясь в люки, утопали, купались, шли грудью, бродили по колено в густо-красных реках, припадали и пили, будто лошади на водопое, и туда же валились ничком, натекали, как тряпки, всплывали, как падаль.

Горланили похабные частушки, резали «саратовскую», выбирая мехи до отказа, ударялись впрыскадку, выделявали казачка, ходили колесом по площадям.

Носились гривастыми вихрями в улицах, высекая подковами синие искры из речных голышей, задирались, сцеплялись, бились в кровь с подошедшими красноармейцами двух стрелковых дивизий, называя их пешкой и вшами, в то время как те называли их блохами.

Жгли костры из расколотых в щепки столов и комодов в разгромленных господских, чиновничьих, купеческих домах, варили кондер в походных котлах и жарили мясо.

Громили магазины на проспектах, рвали штуки сукна, ситца, шелка, волочили охапки пальто, женских юбок, чулок, кружевных панталон.

Первобытно-звериное было в этом бурлении и шатании толп – ликование смывшего все огорожи и пошедшего вскачь табуна, и Сергей заражался этим плещущимся через край возбуждением, ощущая, что он никакой уже не корпусной комиссар, сын земского врача и доктора медицины, читавший Маркса, Горького, Толстого, а будто бы такой же взбудораженный весною и кобылицами в охоте жеребец. Хотелось влиться в эту киповень, пойти, обнимаясь за плечи с бойцами, ломиться в чужие квартиры, в глухую, довольную, сытую жизнь, в изящество культуры, в цивилизацию горячих ванн, обеденных правил и теплых сортиров, енотовых шуб и жилетных часов, крушить, колошматить, рубить зеркала, китайские вазы, портьеры, рояли и даже – никакого «даже» – книги... не потому, что те украдены у этих голодных и темных людей, а лишь затем, чтобы пьянеть, раскаляться и полниться силой... Но вот впивался в уши женский вскрик, и Северин как будто просыпался – бросался коршуном на горца, партизана, выдергивал из кобуры наган, стрелял поверх голов, крича: «Не смей!..»

Когда б не Жегаленок и Монахов, его бы самого, быть может, пристрелили, стоптали на своем пути, как понесшие кони... Насилие над женщинами, впрочем, было редкостью – во-первых, может, впрямь из одного лишь страха перед Леденевым, во-вторых, потому что победителям досталось множество «княжон», «маркиз» и «баядерок» из офицерских бардаков.

Сергей искал Мерфельда – ему указали на дом в ропетовском стиле, так называемое заведение мадам Бочаровой. Стоящее на задних лапах чучело медведя, тяжелые портьеры, тюлевые занавески, кривоногая штофная мебель, ковры... Гремел «Собачий вальс», переливающийся в «Полечку-трясучку», дрожали пол, посуда, зеркала, разило спиртом, табаком, духами, паленым волосом, горячим утюгом и чем-то еще будоражающе-гнусным – похоже, скученными женскими телами, парными и вонючими, как мясо только что забитых и освежаванных коров.

Какой-то незнакомый белявый командир отплясывал камаринскую прямо на столе, раскидывая руки, выкаблучиваясь, сбивая бокалы, бутылки... Вокруг гоготали комэски, начснабы, бойцы, держа на коленях и тиская «барышень». Холеные руки и плечи, истоки тяжелых грудей, удавленно распухших, вылезающих из кружев, как опара из квашни, облитые шелками окатистые бедра, высокие ноги в ажурных чулках, уплывающе-шалые взгляды подкрашенных глаз, кровососуще-окровавленные рты – все хлынуло разом, как через пробоину, не давая вздохнуть, пронырнуть, упереть взгляд во что-то другое, закручиваясь, стягиваясь на Сергее в какой-то плотский узел, забирая его, как трясина.

Все жило напоказ, все ощущало на себе его голодный, свежий взгляд, заученно потягивалось, улыбалось, зазывало, дыша равнодушной готовностью даваться... «Да им же все равно, – кольнула брезгливая мысль, – что мы, что офицеры, и нам, выходит, тоже...» Но вместе с отторженьем накатило, глуша и полня кровью, ничем не подавляемое возбуждение.

Во главе стола – Мерфельд, в самом деле теперь Мефистофель, со своей заостренной бородкой, рогатыми бровями оперного демона и невидящим взглядом пресыщенных глаз...

– А, Сергей Серафимыч... Решили вспомнить гимназические годы? Или пришли настаивать на путь истинный? Взыскать по всей строгости революционной морали?

– У самого должна быть совесть, а если нет – чужую в вас не вложишь, – сказал Сергей как можно холодней, косясь на красивую стерву, сцепившую руки у пьяного начоперода на плече.

Она смотрела на Северина зеленоватыми кошачьими глазами, как будто знающими про него что-то самое стыдное.

– Это верно, – согласился Мерфельд. – Кому что дано – кому совесть, а кому лошадиные чресла, как у Гришки Распутина. – Девки прыснули смехом. – Есть, знаете ли, в некоторых наших комиссарах что-то скопческое – с Шигониным успели познакомиться? Одна у них женщина – революция. Так и должно быть, скажете? Одной ей служить? Да только ведь женщина, а? Грядущая жена. Могучих лишь одних к своим приемлет недрам... готовая дать плод от девственного чрева. А эти чем могут ее, простите, оплодотворить? Вот она и принимает одного Леденева. С ним в щедром сладострастии трепещет, в то время как эти лишь слюни пускают. Не можешь любить – тогда остается святым быть. А вернее, монахом, инквизитором, иезуитом. Других принуждать пожертвовать всем, чего самому не дано. И все-то у них должны быть железными. И все-то живое, что есть в человеке, – порок. Кровь лей, и свою, и чужую, а семя – не смей. Ведь если оплодотворить не можешь, то тут-то, милый мой, и остается единственная сладость – кровушка. И власть над любым, с кем бабы идут, над всяким, кто сильнее, даровитее тебя. – Мерфельд был уж так пьян, что как будто и трезв.

Сергею на миг показалось, что перед ним не красный командир, начоперод прославленного корпуса, а все тот же Извеков со своим бесконечным презрением к большевикам.

– Ну что же вы, присаживайтесь. Или брезгуете? Сам такой же монах? Хотя, возможно, и святой, не исключаю.

– Мне, может, штаны снять и доказать вам тут обратное? – нашелся Сергей, вызвав хохот. – Комкор уже сутки найти вас не может.

– Ну если комкор, тогда совсем другое дело. Я, признаться, его ведь и вправду боюсь.

– А по мне, так ничьей уже власти нет в городе, – сказал Сергей, садясь за стол и бешено расстегивая душный полушубок. – Упились, опустили до зверского образа. Предприми сейчас белые рейд...

– Ошибаетесь, Сергей Серафимыч. Пожелай Леденев – в два часа будет корпус. Все встанут, даже мертвые. Причем повинуюсь как раз тому самому табунному чувству, услышав призыв своего жоака, поскольку чувство это, так сказать дочеловеческое, в любой живой твари сильнее всего. Страх одиночества и смерти, совершенно неизбежной, если ты отобьешься от массы, жоака своего потеряешь.

– Так почему ж он это допускает?

– Потому что он знает закон человеческих масс. Знает, что человек не святой. А если и святой, то не всегда. Четыреста верст шел он к этому Новочеркаску, желая отогреться, жрать и женщин. Человек может вытерпеть многое, все вообще, но не может терпеть бесконечно. Ему, как пружине, необходимо расслабление, и тут уж с какой силой давят, с такой-то он и распрямляется. У русского человека, как видно из истории, вообще лишь два вектора – самопожертвование и саморазрушение, а середина между святостью и скотством ему скучна, неинтересна. Мы нынче ведь рай на земле построить хотим – на меньшее не посягаем.

– А сам-то он кто, Леденев? – спросил Сергей, рассчитывая на откровенность кристально пьяного и говорящего лишь правду человека. – Монах? Святой? Диктатор? Большевик?

– А именно что русский человек, – ответил Мерфельд. – Из тех самых русских, что вечно недовольны и даже несчастливы тем, что дано. Которые не примирятся, что долей их должно быть только то, что Бог им послал, – одна только эта, как есть она, жизнь. Такие-то русские и бежали на Дон от бояр и пускали здесь корни того, что нынче называется казачеством. Такие-то и шли конквистадорами в Сибирь, такие-то и были, ежели хотите, первыми большевиками, точнее революционерами, то есть отрицателями всякого насилия над собой и своего бессилия перед судьбой.

– Товарищи красные гусары! – вдруг со слезою и восторгом крикнул незнакомый командир. – За героя революции, комкора Леденева! Стоя! До дна!

Страхнув с себя обвившиеся руки проститутки, начоперод поднялся, словно куст бурьяна из-под снега, и, прихватив с собой бутылку, не говоря ни слова, пошатался к выходу. Сергей толкнулся следом.

– Не в службу, а в дружбу, Сергей Серафимыч, полейте, – попросил его Мерфельд, склонившись над фаянсовым тазом. – Лей-лей-лей, не жалеи!.. А-ы-ых, хорошо!..

– А на вопрос вы все же не ответили, – сказал Сергей, когда начоперод растерся полотенцем досуха и начал застегивать френч.

– Какой? О Леденеве? Вы напрасно, Сергей Серафимыч, рассчитываете на мою пьяную искренность. Я, кажется, и так наболтал много лишнего о вашем славном ордене. Впрочем, если хотите, по-моему, он большевик. И даже больше большевик, чем все наши политкомы, вместе взятые. В отличие от этих болтунов он все говорит своей жизнью. Дает красоту, как он сам выражается.

– А зачем она, эта его красота? Чья, чья она, если хотите?

– А чей, извините, рентгеновский луч? Концерты Рахманинова? Орловские лошади? Все эти явления названы по именам своих создателей, но станут достоянием всего освобожденного трудящегося человечества, не так ли? Ну вот и его красота, по-моему, очевидно наша, красная. Или вам представляется, он такой же дальтоник, как эти вот дамы: что под белых вчера, что под красных сегодня – все один кусок хлеба?

– Речь не только о белых и даже совсем не о них... – начал было Сергей.

– А-а-а, вот он что, – с презрением выцедил Мерфельд. – Ну а как вы себе представляете армию без диктатуры? Тут уж, как ни крути, каждый взводный – тиран. Да, ему нужна власть,

абсолютная. А иначе не мы будем в Новороссийске, а Деникин в Москве. Леденев – это власть, сущность власти, Леденев – это воля никого не жалеть, ни себя, ни других. А наши комиссары хотят стоять над ним: направлять его, требовать, прямо им помыкать – и чем тогда, простите, отличаются от царских воевод, против которых восставали мужики?

– Ну, знаете... – выдохнул Сергей.

– Нет, не знаю, не понимаю. Просвещайте, воспитывайте, разъясняйте темным мужикам марксистское учение, проповедуйте евангелие... Да, да, на примере евангелия разъясните им сущность, правду социализма, поскольку Библия для них доступнее всего. А Леденеву предоставьте власть, военную, поскольку у него вот эти темные, животные в своих желаньях мужики уже два года как стоят за революцию и умирают за нее, за тот социализм, в котором ничего не понимают. А может, больше нашего, наоборот, – не умом, а нутром-с...

На улицах хлопали выстрелы, в стеклянной звени сбежистой воды, в копытном цокоте ревели, хороводились, толклись, навесив на руки торгуемое барахло, трясли перед носом собратьев брэнчащими гроздьями жилетных часов, которыми сами себя наградили за храбрость.

– А отчего ж вы его так боитесь? – спросил Северин, когда они вышли на улицу.

– А вы нет? – усмехнулся Мерфельд. – А на вашем бы месте стоило. Вы ведь понять его хотите, заглянуть ему в душу. Я, знаете, однажды тоже попытался... ну, покороче с ним сойтись. Заговорил с ним о семье, о женщинах – не хочет ли он начать новую жизнь с новой женщиной. Так он мне сказал: еще раз заведешь об этом разговор – убью. И он не шутил. С ним страшно говорить о прошлом и о будущем. Представить страшно, чем он будет жить, когда кончится эта война. Ну разве что новой войной – со шляхтой, с англичанами, с японцами. В нем не то чтобы не осталось ничего человеческого, но человеческих желаний – в нашем понимании – любви, семьи, детей... он все это потерял. Да и не потерял, а именно отдал. Пожертвовал для революции. Вы думаете, много ему радости вот в этой его власти? Нет, власть – это невозможность никого жалеть, и первым делом собственное счастье. Ну и как же прикажете мне не бояться его? Себя, свою любовь не пожалел, а меня пожалеет?

Разговор оборвал вестовой, доложивший, что Северина ищет Сажин, просит срочно прибыть в атаманский дворец для описи экспроприированного «буржуйского имения». Сергей поехал с ним, раздумывая обо всем услышанном от Мерфельда, и вот очутился в заповедной пещере. В сиянии свечей отблескивали ограненные прозрачные и золотые на просвет, рубиновые, изумрудные, сапфировые камни, браслеты, медальоны, перстни, ожерелья, сгребенные в кучки, подобно куриным костям, скорлупе и лузге. Ковры из старых денег на полу. Столбы из золотых монет впритир друг к другу. Начальнику особого отдела Сажину не хватало лишь конторских нарукавников. Он и двое подручных бесконечно считали монеты и вели опись брошей, камней – пальцы были в чернилах, и в глазах уже тлела тоска.

– Вот, Сергей Серафимыч, моя золотая могила. Это ж сколько скопили на рабочем горбу, живоглоты, и то, верно, только остатнее, чего увезти не успели, – в Дону, наверное, боялись утонуть.

– Так что ж, это красноармейцы сами вам несут? – Сергей увидел уж не сказку, а воплощенное проклятие труда, как будто от всего очищенное вещество наживы, сгущенную до твердости металла душу чистогана, те пот и кровь, которые, как в алхимических ретортах, превращались в это золото.

– Эх, скажете тоже. А то будто не видите, чего они – сами. Перекинул через седло мешок и пошел. Женщин вон на свой счет одевают. Их бы всех поскрести – так еще ровно столько же будет. Мало, мало сознательных. Они ведь в своей массе рассуждают как...

– Слышал уж: у буржуев взять не грех.

– Ну вот видите. Наше – значит мое, а до высшей идеи мало кто подымается.

– Ну а если тряхнуть, – сорвалось у Сергея. – Или что, притворимся незрячими?

– Эх, Сергей Серафимович, – вытянул Сажин страдальчески. – Тряхнуть – это знаете сколько вопросов? Кого тряхнуть? Геройского бойца, который своей крови не жалел? В чем же он виноват, если нам поглядеть на него через его босяцкую житуху? Он ведь, такой-сякой, поди, по десятому году батрачил с отцом и сытым отродясь себя не помнит. Вот он и понимает, что ежели прихватит золотой цепок да все его товарищи чего-нибудь возьмут, то вот оно и равенство... Так, сердечко, с бантиком... А-а-а! не могу больше!.. Пропало бдительное око революции! Ослеп я от этого блеска! Ну найди же ты мне ювелира, Соломин, я тебя умоляю... Вот и выходит, Сергей Серафимыч: судить по всей строгости каждого – с кем же останемся? Кого в бой вести? Леденев же и спросит: куда подевали людей? Первостепенная задача-то какая, – кивнул на повешенный кем-то плакат: рабочие, крестьяне и матросы вонзают штыки прямо в пасть безумно-пучеглазому дракону, обвинившему чешуйчатым хвостом громаду фабрик, – и надпись внизу: «Смерть мировому капиталу!»

«Странный чекист. – Сергей пытливо вглядывался в простоватое, одутлое лицо, в запавшие, расщепами глаза, не выражающие ничего, помимо терпеливого согласия со всем идущим, как оно идет. – Какая уж тут твердость? Мять станешь – костей не найдешь. На горьковского Луку похож. Все видит – всех оправдывает и будто бы и прав кругом в своем неосуждении».

– А если не судить, – сказал, – а именно тряхнуть? Потребовать, конфисковать? Приказом по корпусу?

– А это вам второй вопрос, – пошли от уголков сощурившихся глаз смешливые морщинки. – Кто будет трясти? Какой-такой силой и властью? Что, взводом комендантским? Штабным эскадроном, который сам же больше всех нагреб. Над каждым часового не поставишь. Ну вот и остается воспитывать партийным словом. Может быть, у кого-то глаза и защиплет.

– А если Леденев прикажет?

– Он может согнуть, – признал особист. – Да только он ведь сам такой.

– Какой «такой»? – впился Сергей.

– Опять же сами видите, наверное, – уклончиво ответил Сажин. – На первых-то сутках, как город забрали, в кулаке всех держал, контратаки от белых стерегся, а потом распустил, отдал на разграбление город. Видит: изголодались бойцы – надо вознаградить, показать им свою справедливость. А не то, может статься, не пойдут они дальше, а если и пойдут, то уж невесело. Это, знаете, как в дикие времена – деревьяшкам-то, идолам племени поклонялись: то дарами задабривали, то розгами, наоборот, секли, ежели эти деревьяшки плохо им помогали. Вот нынче крестьянская масса навроде такого же идола. Стихия и есть, и комкор наш ее то сечет без пощады, то, как видите, наоборот. Знает, где придавить, где ослабить, чтоб и дальше была она, масса, как глина в руках. Его ведь не только бояться, но и любят еще. Без любви на войне ничего и не сделаешь.

«Ну что ты будешь делать? – засмеялся Сергей про себя. – И тут не винит и не судит. Не судит, но и не оправдывает».

– А не поднять ли нам, Федор Антипыч, на улице? – сказал в расчете на иную степень откровенности – наедине.

– Э-э, нет! – засмеялся Сажин. – Пока вот этого всего не перечту, права уж не имею покидать помещение. И вы, кстати, тоже, Сергей Серафимыч. Под вашу подпись и никак иначе. Вон он у Соломина в глазах какие черти пляшут. А, Соломин? Вот эта вот подвеска грушей, поди, на целый пароход потянет. Давайте уж считать, товарищ военком. Вот ведь какая штука-то обременительная – совесть.

Сергею сделалось тоскливо до удушья. Он все забывал о своей безотменной повинности – скреплять личной подписью и карманной печатью все приказы по корпусу, все акты, все описи, – и власть подтверждать, запрещать, арестовывать была ему мучительна, как университетский курс юриспруденции посредственному гимназисту, не говоря уж о моральной стороне

вопроса: судить и оценивать тех, кто и старше, и умнее его. Эх, с какой бы радостью он поменялся местами с любым здешним взводным, да хоть и с Мишкой Жегаленком...

А еще он надеялся вскорости выйти отсюда и добраться до госпиталя: там она обитала, только раз им и виденная, совершенно необыкновенная девушка, Зоя – из жизни ли, из снов ли, как будто не могущая принадлежать вот этому воюющему, кочевому миру, но и неотрывная ото всех этих ожесточившихся, грубых и наивных людей. Хотелось увидеть ее – и поверить, что она не приснилась ему.

И вот он сидел при свечах в зашторенной комнате и с той же отупляющей тоской, с какой перебирал пшено и гречку вместе с матерью когда-то, пересчитывал сотни червонцев, смотря на них сквозь призрак ее оцепенелого в усталости, но все равно бесконечно живого лица, такого чистого, что даже взглядом к нему больно прикоснуться, а уж выдержать взгляд этих глаз... И вместе с тем такое чувство, будто он, Северин, ее знает давно, даже рос с нею вместе, и только подойдет к ней – она его немедленно узнает, будто пробудившись, и тотчас же они продолжают как будто бы оборванный на полуслове разговор, шуточный, со взаимными насмешками и чуть ли не возней, обвальными падениями в снег, в котором затеряешь валенок или варежку. В лице ее было обещание счастья, того, что смешно назвать счастьем, ибо девушка эта явилась Сергею его же собственной душой, которую в него пока что не вложили.

И вот все золото и камни были пересчитаны, уложены в ящики и опечатаны, и Сажин, с наслаждением потягиваясь, вышел на балкон. Раскрыв, протянул Сергею серебряный, с каким-то вензелем на крышке портсигар.

– Вы будто бы из сормовских рабочих, – сказал Сергей, закуривая.

– Из них, – улыбнулся чекист, – да только к чужой славе лепиться не стану. Я в пятом году в восстании ведь не участвовал. Слесарь был я в ту пору на хорошем счету, по технике много читал, в мастера меня прочили, а у мастера жалованье было знаете какое. Со штабсом-капитаном наравне. Нашел свою линию жизни, а тут меня спихнуть с нее хотят. Свои же, понятно, рабочие – чего ж, я не видел, каково им у горнов по десять часов? – а все ж своя рубашка ближе к телу. Ну и вот болтался, как навоз в проруби. Пока пелена спала с глаз...

– А сейчас как? – спросил Сергей резко, позволяя себе даже нотку презрения. – Может, тоже, простите, болтаетесь?

– Это вы о чем? – уточнил Сажин мирно.

– Ну как, о Леденеве. Знакомы мы, конечно, с вами без году неделя, но все же не могу понять, как лично вы к нему относитесь. Другие отзываются определенно: герой так герой, бандит так бандит. Для вас-то он кто?

– Для меня-то? Герой. Вины за ним не знаю никакой, а подозрения свои в кишку могу засунуть, потому как субстанция это летучая и ни к какому протоколу ее не пришьешь. Пока, как говорится, не доказано обратного – герой. Советовал вам давеча его остерегаться? Говорил, политкомы у нас пропадают, несогласные с ним? Ну так и сейчас говорю и советую. Да только любую, Сергей Серафимович, контру, даже самую мелкую, с личным надо брать, как кошку на ухват. А это громадная личность: он вам на каждое сомнение Новочеркасск преподнесет, а сверх – телеграмму от Ленина: «Примите мой привет и благодарность». А это уж читай как хочешь, хоть даже и так, что именем народа разрешаю вам, товарищ Леденев, казнить любых людей согласно своей совести.

– И как же он, по-вашему, вот эту телеграмму прочитал?

– Да кто ж вам это скажет? – ответил Сажин чуть не бабьим причитанием. – Оно конечно, лютый он, как и не человек. Кровь и так дешева нынче стала, а для него и вовсе вроде смазки в дизель-двигателе. Да только ведь иначе революцию не делают, полки за собой не ведут. Куда ведут, спросите? За Советскую власть или к собственным целям? Так этого и там, – возвел Сажин к небу в глаза, – я так полагаю, не знают доподлинно – откуда же мне? Темен ведь человек, и ничем-то ты его до дна не просветишь, пока он сам тебе свою натуру не покажет.

Так-то будто и спору нет: за Советскую власть добровольцем пошел с первых дней, несмотря что папаша кулак. Да, кулак, вышел, так сказать, в люди из бедняцкого класса, мельничушку свою заимел, да уж где она, та мельничушка, теперь – ведь сожгли беляки, столько крови ему, Леденеву, пустили, что вовек не откупишь. Третий год белых бьет – это надо считать. Да только ведь власть получил – и соблазн. И бабами, и водкой, и даже вон золотом – всем пресытиться можно, а власти хочется до без предела.

– Это все философия, – отмахнулся Сергей, – а вы любите факты. Вот и дайте мне их. Шигонин-начпокор, Кондэ, другие вам известные товарищи не раз уж доводили до сведения Реввоенсоветов, что он в открытую ругает коммунистов перед массой. Выставляет грабителями трудового крестьянства, вплоть до того, что, мол, побьем всех генералов – тогда и за Советы примемся. Про это вам известно что-нибудь?

– Известно, – ответил чекист таким тоном, как если б Сергей спросил о снеге зимой. – Об этом московским «Известиям» с «Правдой» давно уже известно – что он за казаков вступался перед Лениным, чтоб Донбюро получше разбирало, кто есть кто, бедняк-хлебоборб или закоренелый кулак, а не всех под одну контрибуцию стригло.

– А про то, что с Советами воевать предстоит, ни слова, значит, не было? Получается, врут комиссары?

– Эх, Сергей Серафимыч. Человек как напьется, так пьяная правда из него и полезет, то же самое и у голодного – правда своя. Не умом – брюхом смыслит. Да какая бы власть ни была, даже наша, Советская, все равно ее будут ругать, по первой-то. Разорение-то налицо – через войну оно, конечно, да разве это каждому втолкуешь? Мужик-то видит что? Что у него ревкомы хлеб все время забирают, что евоная баба с детишками давно уж пшеничного хлеба не видели, а то и вовсе помирают с голоду, пока он с Ледневым за всеобщее счастье воюет. Ну вот и начинает он роптать. Вон в корпусе без малого пять тысяч человек – так от каждого третьего слышишь: довели нас жида распроклятые.

– От Леденева что, от Леденева?

– А что вы от него хотите, ежели он – тот же самый мужик? А во-вторых, он, может быть, и враг в самой тайной середке своей, да только вот именно что не дурак. – Голос Сажина медленно засочился в Сергея, словно в кровь из иглы. – Вы спрашиваете: может ли он корпус повернуть? А зачем ему корпус? Рубаки, конечно, отборные, да только что они такое против целого нашего фронта? Взбунтовать их сейчас – это значит себя объявить вроде как прокаженным. Волчья доля – как ни мечись, а все одно затравят. А если поставят на армию, двадцать тысяч дадут, пятьдесят, тогда уже совсем другое дело.

– Так что же нам, сидеть и выжидать?

– Ну зачем же сидеть? Слушать, соображать. Присматриваться хорошенько. А то вы, Сергей Серафимыч, и вправду у нас пятый день, а уж хотите полной ясности, кто же он такой есть. Да и потом, не нам решать. Наше дело – все видеть как есть и доводить до сведения кого надо. Громадная личность – центр должен судить.

«Да он просто премудрый пескарь, – подумал Сергей, проникаясь брезгливостью к Сажину. – Будет ждать, чья возьмет, и примкнет к победителю. Нашел свою линию жизни, ага. Что в пятом году, что теперь... Но в главном он прав – судить-то нам не из чего... Но я ведь верю в Леденева. Еще и не зная, не видя его, уже в него верил, в одну лишь красоту легенды, а теперь – в красоту его силы. И если так пойдет и дальше, я не смогу его судить – смотря влюбляющимся взглядом, а не беспристрастно».

Попрощавшись с чекистом, он вышел на улицу. Леденев вместе с Мерфельдом отбыл в Ростов. Сергею хотелось отправиться с ними, посмотреть на живого Буденного, но надо было вытащить себя из леденевской силы – чтоб целиком себя не потерять. А еще он все время, как голодный о хлебе, – ну скажи еще, как о воде в Каракумах, но ведь вправду безвыборно, – думал о Зое.

Совсем уж растеплело, везде журчала неурочная вода – с домовых крыш, с налившегося самогонной мутью небосвода. Зарядив, день и ночь убаюкивающе воркотали дожди, червоточили, плавили снег, и вот уж не осталось ни клочка рождественской снеговой чистоты, черно и масляно заслякотило мостовые, разлились рукавами огромные талые лужины, стольный град потускнел – уже не боярин в бобрах, а нищий в отсырелом рубище.

Сергей сошел с седла, бросил повод Монахову, которого взял к себе ординарцем, безмолвной тенью, сгорбленной под ношей своей ненависти, и двинулся в глубь засаженного липами больничного двора. Его уже многие в корпусе знали в лицо – и самого страшного, чего Сергей боялся, уже как будто не случилось: зажить среди этих людей на правах приبلудного призрака, сквозь которого, не застревая, проходят все взгляды.

Бойцы смотрели на него со сложным чувством собственной ущербности и превосходства, какого-то почтительного, отчасти даже трепетного и вместе с тем жалостного любопытства, с каким, наверное, глядят на человека, произносящего латинские названия всех злаков, но не могущего запрячь быка, собственноручно никогда не сеявшего хлеба.

Сергей понимал: почтительны не перед ним, а перед той непостижимой, абсолютной силой, которая его прислала, – и не перед волей, которая может казнить, а перед небывалой, всесокрушительной громадой человеческих умов и воль, которая переворачивает мир и носит имя Ленина и партии большевиков. Во-вторых же и, может быть, в-главных, Сергея признал Леденев – не то чтобы поставил вровень или рядом с собой, но все-таки позволил числиться в живых, а не в чернильных, мертвых душах корпуса.

В конце концов, многие видели, что он не тюфяк и не трус – и вот, идя по госпитальному двору, Сергей будто сам ощущал, как он ловок и ладен – в скрипучих наплечных ремнях, в добытом Жегаленком защитном полушубке, уже побывавший в знаменитом бою, упомянутый в первом же номере корпусной «Красной лавы» как произнесший речь перед бойцами Горской и даже будто бы увлекший их на танки. Он думал, что и Зоя должна его видеть таким, и тотчас же чувствовал страх: а вдруг сейчас увидит себя ее глазами – надутым пузырем, самозванцем, никем?..

Привычно-нестрашно, но почему-то странно близко – в лазарете? – чмокнул выстрел, и тотчас же за домом плеснулся женский вскрик... Он никогда не слышал Зоиного голоса, но почему-то вмиг почуял: там она!.. Сорвался на крик, царапая ногтями крышку кобуры... и расшибся о воздух, как птица об оконное стекло, в самом деле увидев ее, оседавшую прямо на белую розваль поленьев – под тяжестью раненого! В тот же миг он узнал и Шигонина – тот сидел на дровах, зажимая ладонью бок слева и бессмысленно уж поводя непослушной рукой с револьвером...

В глубь больничного сада, оглядываясь, убегали безликие двое. Сергей молчком рванулся следом – не догнать, а скорее погнать... больше всего боясь, что те опять начнут палить – в нее!

За спиной – облегчающий, подгоняющий топот и крики своих... Один из убежавших, почти не оборачиваясь, выстрелил. Сергей на бегу настранил зудящую от напряжения руку, врезал мушку в подвижную серую спину и нажал на курок. Перед глазами все скакало, дергалось, рвалось: и эта серая спина, и мушка, и деревья, – но Сергей, распаляясь, трижды клонул бойком... Ответная пуля грызнула ствол яблони у его головы, и тотчас же оба безликих метнули себя на забор, взвиваясь, перемахивая, обваливаясь вперевес.

Он выстрелил еще раз с пьянящим ложным чувством: «попаду» – в дощатой стенке пуля выщербила метину, осыпала на землю мелкую щепу...

К забору прибилося с полдюжины красноармейцев:

– Куда?! Зараз срежет! Ушли!.. Видали их, товарищ комиссар?!

Сергей немедля побежал обратно – к Зое. Она была там же, с Шигониным, на груде поленьев, у козел, прижимала к его заголенному, окровавленно-бледному боку белый скомок чего-то оторванного от себя, от исподней рубашки, от тела.

– Шигонин, жив?! Вас не поранило?.. – свалившись на колени, выдохнул Сергей, бесстыдно радуясь, что может с ней заговорить.

– Да помогите ж снять шинель! Подержите его! – приказала она твердым, бешеным голосом, жиганув Северина коротким повелительным взглядом, и поневоле подалась к нему, и он в упор увидел ее кошачьи гневные глаза и родинку над верхней оттопыренной губой, когда обнял и стиснул Шигонина, как большого ребенка.

Тот рычал и мычал, выгибался дугой, ощеряясь от боли... Почти прижимаясь к Сергею лицом, опаяя его своим срывистым, тягловитым дыханием, она с удивительной ловкостью и быстротой перепоясала Шигонина своим чисто-белым платком.

– Монахов, бери его! Куда нам? Ведите.

Шигонин не обмяк, не обезволеет, ответно вцепился Сергею в плечо, и Зоя пошла впереди... «А ведь и ее могли...» – не смог уместить Северин, оглядывая всю ее, от сбившейся косынки на светло-русых волосах до желтых солдатских ботинок, должно быть английских, трофейных, с неизносимыми подошвами, в застиранной защитной гимнастерке и юбке синего сукна чуть пониже колена, во всей этой грубой одежде солдата.

Он знал, что у Монахова убили сына и жену, что смерть не заклать, не убить чистотою единственного человека, никакою твоей в человеке нуждою, – и ему стало страшно, как в детстве при мысли, что ни отца, ни матери когда-нибудь не будет, а значит, и его никто не пожалеет.

Но сразу следом поднялась, по горло полня, радость, что вот она цела – и он уже с ней говорит, хотя бы и допрашивая, что произошло, кто были эти двое и почему стреляли в нач-покура... что вот сейчас он утвердится в ее бытии на правах... ну хотя бы товарища... такая радость, что и раненый Шигонин показался ему совсем легким.

Крыльцо, вестибюль, милосердные сестры... Шигонин был нем, лишь иногда постанывал сквозь стиснутые зубы, наступая на левую ногу.

– Постойте, без вас тут... – шалея от собственной смелости, поймал Северин Зою за руку, так страшно и блаженно почуяв всю ее, что сердце рухнуло, и с невозможной, в оторопь кидающей покорностью она пошла за ним в какой-то кабинет. – Что ж это было? Кто? – спросил как можно строже, усевшись напротив нее.

– Не знаю. Не видела раньше. Одеты в военное, безо всяких вот только различий. Я пошла за дровами. Тут они – «не помочь ли, сестрица?». Ну и позволили себе. – Улыбка какой-то нехорошей бывалости искривила ее опеченные губы. – Тут товарищ Шигонин – «не смей!». Они его по матери, все в крик. А дальше уж вы... Сами видели все.

– Шигонин-то откуда взялся? За какой-такой нуждой?

– А все за той же – с дровами хотел подсобить, – улыбнулась она той же скучно-привычной, искушенной улыбкой. – Нет, он себе не позволяет. Ночевать не зовет.

«А куда зовет? Замуж?.. Ну, Шигонин, монах...»

– Узнаете вы их?

– Узнала бы, наверное. Да только где же их теперь найти – весь город в наших. Да и не только наших – всяких много, все по-военному одеты, как тут разобрать. Я ведь не Александр Македонский – всех в лицо не помню, тем более счастливых, каких еще не ранило, да и новобранцы идут.

– Ну а сюда-то, в лазарет зачем идти бойцам, если они не ранены?

– К нам, знаете, идут с любыми жалобами. Лекарство требуют от сифилиса. А то ведь и карболкой сами лечатся, и толченым стеклом.

– Давно же вы в корпусе? – спросил Сергей лишь для того, чтобы ее не отпускать.

– С тех самых пор, как есть он, корпус.

– Так что же, вы от самого Саратова? – напоказ восхитился Сергей.

– От Саратова, да. Товарищ Леденев у нас лечился. Все думали: не встанет, а он встал. – Так говорят простые люди о божьей воле, о судьбе.

– Работали в госпитале?

– Да, у профессора Спасокукоцкого. Потом пошла за Ледневым.

Сергей вспомнил Мишкин рассказ: ходила за комкором, выкармливала с ложечки, – и будто ткнули спицей в сердце.

– А если бы не он, остались бы в Саратове?

«Для Леденева женщин нет, – немедленно вспомнил он. – «Но разве она не может любить безответно?»

– Пошла тогда, когда решилась. – В глазах ее мелькнуло что-то неопределимое – не то испуг, не то, быть может, стыд, – и вот уж посмотрела на Сергея с прямой отторжения, говоря: не его это дело, из-за кого она пошла и что ей Леденев. – Раньше боязно было, и мать не пускала, не хотела бросать я ее, не могла. А потом уж бросать стало некого. Вот и пошла.

Сергею захотелось откусить себе язык, ударить по лицу...

– Вы что же, думаете, он меня... ну как персидскую княжну? – спасла его, сжавившись, Зоя. – Или что я за ним, как собака? А хоть бы и так – что ж в этом такого? В свободном обществе никто не запрещает, и вообще, чем дешевле жизнь, тем больше стоит каждая минута. Живые же люди. Но только не он.

– А он какой?

– Да мне откуда знать? – засмеялась она, на миг и вправду став той девочкой, которую знаешь всю жизнь. – Я, по-вашему, кто ему? С ночными горшками его и кальсонами близко знакома. А в душу ему не заглянешь – не то чтобы страшно, а он тебя только к горшку своему и допустит.

Сергей почувствовал освобождающую радость, но тут в кабинет, как на пожар, вломился Сажин:

– Это ты, что ли, милая, с начпокормом была?

– Она, – ответил за нее Сергей. – Двоих этих не знает.

– Отойдемте, Сергей Серафимыч, – красноречиво зыркнул Сажин.

Преследуя ждущим, настойчивым взглядом потупленные Зоины глаза, Сергей поднялся и сказал:

– Ну, счастливо служить вам. Мы обязательно еще увидимся.

Она подняла на него строгий взгляд, как будто запрещающий к ней приближаться:

– Мы если увидимся, то потому, что вас поранит или заболееет. А мне бы этого не хотелось. – И как будто с издевкой добавила: – Хватит с меня одного комиссара.

На дворе гомонили бойцы, милосердные сестры.

– Глухо, тарщ Сажин, – доложил подбежавший к крыльцу особист Литвиненко. – Дворы проходные – как канули.

– Ну ясно, – отмахнулся Сажин. – Вы, может, ранили кого из них? – спросил Сергея.

– Как будто нет. Не видел.

– Ну вот что, Сергей Серафимыч. Шигонин сказал: на него покушение. То самое, о чем мы говорили, – что политкомы у нас часто погибают, – неловко улыбнулся Сажин, как будто сообщил Сергею о своей нехорошей болезни и спрашивал о пользе толченого стекла.

– Чего?! Да кто же это покушался?

– Смешно сказать. И страшно. – Сажин поозирался: не услышит ли кто – и выдавил с болезненной, как будто стыдливой улыбкой: – Комкор, говорит, вот этих послал.

– И на каком же основании? Узнал их?

– Да нет, говорит, не видел их раньше.

– Ну и какое ж покушение? Ведь ясно: уголовный случай пьяных идиотов.

– Со слов сестрицы заключаете?

– Так к ней и пристали. Шигонин нечаянно рядом случился.

– Непохоже, Сергей Серафимыч, на ножовщину пьяную. Та – по темным углам, в бардаках, на базаре, тоже как и разбой. А чтоб средь бела дня да в госпитале – из-за женского пола? Вон их сколько по городу, девочек, – покупай не хочу, зачем же к сестрице цепляться? Врать-то ей, надо думать, конечно, никакого резона, и с виду все, пожалуй, так и обстояло, как она говорит, да только уж больно провокацией пахнет. Всем в корпусе известно, что топчет за ней начпокор. Вы только не подумайте – интеллигентно, осаду ведет по всем правилам: «Под душистою веткой сирени...» и такое подобное. Ну вот и получается: при иных обстоятельствах он всегда на людях, то есть, можно сказать, при охране, а тут дело такое, строго с глазу на глаз. Ну вот и бери его рядом с ней. Удобнейший случай.

– Чепуха! – засмеялся Сергей. – Почему же он жив-то тогда, извините? Хотели убить – что мешало? Ведь видели, что жив, – и убежали?

– Да и девчонку бы прибрали заодно, – сказал механически Сажин, и у Сергея сжалось сердце. – Пожалуй, правда ваша, но все же дело путаное. А если, предположим, не убить хотели, а только припугнуть на первый раз? Из строя вывести, на койку уложить? Язык, словом, вырвать?

– Так он и на койке, как видите, не замолчал, – усмехнулся Сергей. – И потом, разве так уж Шигонин вредит *ему*? А если не ему, тогда кому?

– Ну а как же, Сергей Серафимыч? Ведь ругает комкора в открытую – и в штаб нашей армии, и в Реввоенсовет Южфронта пишет.

– Это, Федор Антипыч, только предположения. А их вы сами говорили давеча, куда засунуть. Да ну приставьте вы, в конце концов, к нему охрану, и пусть себе ругает.

Шигонин Сергея не то чтоб отталкивал, но и ничем не притянул. Наверное, в иных, доледеневских, обстоятельствах Сергей бы подпал под влияние вот этого большевика, еще молодого, но много уже испытавшего: за плечами у Павла были годы партийной борьбы – пароли, явки, сходки, типография, стачки, начальство над красногвардейским отрядом в Дебальцево, участие в двух оборонах Царицына, карательные экспедиции по казачьим станицам. Вдобавок к этому, рабочий-самоучка, он был необычайно образован и спорить умел как никто. Но рядом с Ледневым было место только для одного человека – самого Леденева, все остальные рядом с ним не просто меркли, но даже будто бы переставали быть.

Шигонин был отталкивающе из другого вещества, чем каждый в этой дикой, первобытной и гармонической стихии. Все были одно тело с Ледневым, подобные ему и неразлучные с конями, как будто так и вышедшие из утробы матери, верхом, а Павел – вот именно что инородное тело, заноза. Высокий, нескладный, издерганный, трясущийся в седле, как куль мякины.

Соперника в Шигонине Сергей не видел – тот был не то что страшно некрасив или тщедушен, но, верно, именно таких и называют «дохлая сула» казачки на Дону. В лице его, по-бабьи голом, с бесцветными бровями альбиноса и такими же белесыми глазами, казалось иногда, и вправду было что-то скопческое, как настаивал Мерфельд. Какая-то насильственная, постная, безысходная непогрешимость. Как будто и за Зоей-то ухаживает только потому, что свыше было постановлено, что настоящий коммунист обязан быть женатым, и не на ком-нибудь, а на товарище, таком же бойце, – издевался Сергей и, тотчас же спохватываясь, стыдил себя за то, что насмехается над раненым.

Ему опять пришлось вникать в клубок взаимных притяжений и отталкиваний в корпусе. Впрочем, разве же это клубок? Сергей видел четкую линию. С одной стороны – Леднев, влюбленные в него красноармейцы, даже кони. С другой – непричастный и, верно, не могущий причаститься к этой красоте Шигонин и его политкомы. Посередке – Гамза, который, видимо, страдает от того, что, несмотря на всю свою отчаянную лихость, никогда Ледневым не станет, и осторожный, дальновидный Сажин, соблюдающий «нейтралитет».

Непонятен был сам Леденев – кристалл его личности, сути, абсолютно прозрачный и абсолютно же непроницаемый. Вокруг него, казалось, и вправду существует заговор молчания, в который вступили только самые близкие люди. Или, как Мишка Жегаленок, по-собачьи преданные, или отмеченные офицерством, происхождением, породой – Мерфельд и Челищев. Откуда у него такая тяга к офицерам, такое доверие к ним? Опять вставал перед глазами отпущенный на волю Извеков-Аболин. Когда и где он, Леденев, так коротко сошелся с белой костью? Что не может забыть – как клятву верности, как Царское Село? А должен-то их ненавидеть – чужую, неприступную породу, хозяев культуры, войны, ведь так Извеков говорил. Халзанова этого, зажиточного казака, который у него любовь украл.

XIV

Январь 1915-го, Львов – Москва

Халзанов Матвей все не мог осознать, что с каждым рывком паровоза все больше удаляется от фронта.

Он видел жену – будто только она и могла озарить всю его затуманенную, от него самого уже скрытую жизнь, провести его к дому по копытным следам всех коней, что ходили под ним. По изрытым воронками Галицийским полям, мимо холмиков братских могил, уж подмытых дождями и присыпанных снегом. До родимой степи, стосковавшейся по грозовой животворной прохладе, до терпкой горечи полынного, сухого ветра на губах, до зеленого зеркала Дона, невозмутимо-величавого, как небо, отразившееся в нем.

Он видел ее ходившей по кругу, месившей глину голыми ногами, в подоткнутой юбке, которую придерживала кончиками пальцев. Высокие, гладкие, как нацелованная Доном галька, ноги трудились во всю свою силу, с натугой вырываясь из крутевшей глины, и от этой их силы, наготы, белизны, от бесстыдно-зазывной усмешки в немигающих синих глазах у Матвея сводило живот, сохло в горле.

А вот она у Дона на омоченных водою плитняках, колотит вальком по белью, и солнечная рябь воды струится по ее разгоряченному остервенелому лицу, смягчая, расправляя сдвинутые брови, касаясь сжатых губ и словно раздвигая их в улыбке... А вот она у люльки с сыном, ее взгляд на заплакавшего среди ночи Максимку – вроде и недовольный, измученный, сонный, но в глубине своей таящий невытравимую тревогу, извечный, неослабный страх волчицы за щенка: вдруг не удастся уберечь от голода и холода?

Он пытался увидеть и сына, и перед ним вставало смугло-розовое личико, невозмутимое и важное, как у калмыцкого божка, всезнающе смотрели неизъяснимой чистоты, какие-то надмирно синие глаза, как будто ничего из человеческого, посюстороннего еще не выражая, не видя ничего, помимо безначального сияющего света, в который его окунул Создатель всей жизни.

Он понимал, что сын неузнаваемо, невероятно изменился, что от тех его жалких ножек и рученок со складками давно уж не осталось ничего, и тоска по упущенному защемляла Халзанову сердце, превращаясь в потребность увидеть, каким же стал сын, и ничего не оставалось, кроме радости движения и надежды на отпуск. Он чувал даже будто благодарность за ранение.

Убить же или ранить его могли бессчетно... Ноябрь. Ужокский перевал. Чтобы увидеть горизонт, необходимо подымать глаза к холодному, бессолнечному, но все равно неизмеримо высокому небу. Уходят в вышину – чем дальше, тем синей – торжественно-немые вечные громады. Резные дубовые листья гремят под сапогами будто жестяные. Смолистым ароматом, терпкой свежестью наносит от черных сосновых лесов. Поредевшая сотня Мирона Халзанова совместно со второй и третьей идет по ущелью в глубокий обход. Разведчики ведут всех по раздвоенным копытным следам диких коз, бежавших от войны за перевал, – первый снег хорошо сохранил эти длинные извилистые цепки отпечатков. Самим уже приходится карабкаться по выщербленным плитам, как этим диким горным козам. Осыпается мерзлая крошка. С придуренной руганью съезжает по склону казак, мысками и коленями пропахивая в осыпях глубокие дымные борозды. Дрожащие в натуге пальцы впиваются в камни и выступы. Последними словами ругается Гришка-шуряк. Оскалившись, разит Матвея взблеском взгляда: «Эх, чую, зятек, насыплет нам герман сегодня», – и Халзанов до боли, до внезапного страха вспоминает жену, словно Дарья и глянула на него своей синью из Гришки... Нетронутый снег лиловет в

сгустившихся сумерках... «Вольно ж было Господу камней наворочать до самого неба. Так-то, кубыть, и красота, а ты хочешь не хочешь – иди. Ох, и жадный до жизни я стал, слышь, Матвейка?..»

А он уже не слышит: за каменистым переключением, в полуста саженьях мерзнет в ельнике первый австрийский секрет. Затиснув штык зубами, Матвей ползет к расплывчато сереющей фигуре, пускает в землю пальцы, будто корни. Надолго въелись в память кислый вкус промерзлого железа, зачаток предсмертного взмыка в затиснутом рту и как австриец дул на занемевшие от холода ладони, не чуя, что сейчас его ударят под лопатку.

И вот уж задранные к небу чурбаковатые стволы мортирной батареи, и вот уж камнепадом срываются с вершины и сыплются в австрийские окопы казаки. Жалкий заячий вскрик – то кого-то штыком прибивают к ошелеванной досками стенке окопа. Сухой и звонкий хряст перестоявшегося дерева: «хруп-кряк!» – то кому-то прикладом разбивают башку. В тесноте, в свальной сутолочи о винтовках-штыках и помину уж нет – словно в стенках на Масленицу, кулаками друг друга гвоздят, рвут и давят зубами, как псы. На всем протяжении узкого рва колышется, вьется, ворочается огромный невиданный червь – клубок, скручень, слиток своих и чужих.

Вклеившись в горло австрияку, Халзанов вдруг видит его молодое лицо в синюшно-белом судорожном зареве ракеты – что-то женское в очерке щек, как у зарубленного Сеньки Щеголькова, и растущие в ужасе, в иступленной мольбе о пощаде глаза. В окопной тесноте меж ними – ничего, и Матвей животом слышит срывистый бой его сердца. Раздутыми ноздрями вытягивает из его шинели запах пота, настуженной земли, ружейного железа, как будто бы присваивая себе все больше воздуха, kloчущего между их оскаленными ртами, – и на мгновение слабеет от отвращения и жалости.

Австриец мелко-мелко мотает головой, как будто отрекаясь от вражды, и Матвей ощущает горячий тычок в правый бок, наполняясь не болью, а силой, облегчающим правом давить до упора. Австриец попал ему прямо в ремень, ужалил, а не попорол... Левее хрипят, колготятся, правее обезумевший от страха австрияк молотит Еланкина по голове какой-то толкушкой – гранатой... Тугой, обжигающе близкий, рассыпчато-колкий разрыв. Матвей понимает, что жив и что падает. Всей спиной и затылком принимает удар и куда-то плывет в слитном звоне и пустой черноте...

Открывает глаза – желтый свет фонаря, убаюкивающий перестук санитарного поезда. На правом плече, на спине саднящие щербинки от осколков – как будто и вправду железные птицы клевали, которыми пугают верящие в скорый конец мира старики.

Молодой врач-еврей в львовском госпитале что-то долго писал, а потом поглядел на Халзанова собачьи-скорбными, трусливыми глазами:

– Придется отправить вас в тыл. Довольно неприятная контузия.

– Руки, что ж, так и будут трястись? – спросил Халзанов, криво улыбнувшись от испуга.

– Ну что вы. Могу сказать с уверенностью: все поправится. Но лечение необходимо. В Москву поедете, в хорошую больницу.

– Рубить-то смогу? – спросил Матвей тут же.

– Что делать? – словно недослышал тот.

– Рубить. – Матвей инстинктивным движением хотел показать, но рука все дрожала, не слушалась: дед Игнат так грозил ребятам костылем. – Ну шашкой, человека?

– Стало быть, человека... вам надобно... уничтожить? – Врач даже начал осекаться от внезапной злобы. Ускользящий взгляд стал прямым, непокорным, печальные глаза мгновенно налились огнем упорства. – Да хоть бы вас всех поскорей перебило таких.

– Каких «таких»? – спросил Халзанов, закипая.

– А вот таких, которым нравится рубить. Вы что же, думаете, все такие? Да если б не вы, казаки... да и не казаки, а горстка среди казаков, то вся эта война и недели бы не протянулась.

Все разбежались бы от вида первой крови. Война человеку страшна и ненавистна. Человек хочет мирно трудиться, возделывать землю, украшать ее, строить... создавать, а не рушить. А монархи Европы взяли и оторвали его от всего, что ему по природе потребно: от труда, от семьи, от детей... А вы, казаки, с вашей старой, потомственной тягой к войне, с тупым повиновением царю, которое считаете великим делом чести... вы-то и помогаете гнать свой народ на ужасные муки и смерть. Вы что-то... ну, вроде запала в гранате, только малая часть в общем теле народа, и без вас бы и не было взрыва. Вы, лишенные собственной воли... А! Да что говорить...

– Да где уж нам понять? Да только вот скажите: а если бы вам руки переломали, а вы через них и хлеб свой имеете, и вообще вам без них уж не жизнь, что тогда? А у меня пускай трясутся, как у старика? Это ж как у певца горло вырвать. Голос, что ли, отнять либо выхолостить.

– Да вы нищеанец какой-то, с нагайкой. Тело мое есть высший разум... – пробормотал еврей, упрятав взгляд. – Как бы вам объяснить, – посмотрел на Матвея взглядом мучимой лошади, которая, как человек, все понимает, но не может сказать ничего. – Я своими руками не служу угнетению, насилию над человеком. Я, видите ли, людям помогаю, а вы их убиваете. А заодно насилуете всех, кто не желает умирать за непонятные им интересы, в то время как их кровные, естественные интересы мира и труда растоптаны кучкой людей – царем и его генералами. Смерти, смерти вы служите – так вам понятно? Ну сколько еще крови надобно пролить, что у вас отобрать, что отрезать, чтоб вы, едва избежав смерти, уже не задавали глупого вопроса: смогу ли я дальше людей убивать... А!.. Идите отсюда к черту. Желаю вам когда-нибудь прозреть.

«Должно, проживал где-нибудь в Могилеве-Подольском, где полк наш стоял, – думал он о враче, выходя, – а там какой-нибудь казачий офицер грозился руку отрубить его папаше-шмуклеру – за то, что звезды на погоне вышел криво. Вот он и думает, что у нас заместо души одни только плетка и шашка. Силы нашей боится и злобствует, крови шибко боится... да ведь нет, не боится уже, он ее в этом госпитале больше нашего видел. И что донесу на него, не боится. Блаженный какой-то. И как же он хочет нашу жизнь переделать? Да весь порядок сверху донизу на послушании и держится. От попов – чтоб по правилам жить, без греха, а иначе б давно как собаки сношались. От царя – генералам приказ... Ишь, насилие. А говядину есть, животину губить на потребу – это что, не насилие? Или ты травоядный? Что ж, и неукон не объезжать, про коней и не думать? Да заместо быков самому впрячься в плуг? А то ведь мы, люди, быков и коней угнетаем. А если никому царя не слушать, то какой же я младший урядник? По каким тогда правилам жить? Это ж вроде как дом или церковь на макушку поставить – устоит она разве, не грянется?.. Войну он не любит, и что же? А я, наоборот, всю жизнь бы воевал, когда бы только в отпуск к каждому святку отпускали. Планида моя, ремесло, и Бог его не отрицает. Не Бог ли в промысле своем сотворил нас такими, чтоб каждая на свете божья тварь за жизнь свою боролась, за делянку земли, за довольство?.. А у людей-то, может, с Каина все началось, с завистливой злобы его, и не было войны в Господнем промысле? Однако ж приохотились к человеческой крови и так да сей поры и клочатся промеж собой? И что нам прикажут отцы-командиры, мы туда идем – рубим-колем-бьем... Кого бьем, за что? Вот гад, всю душу мне растеребил...»

Чугунно звякнули тарелки буферов, и всем, кто мог ходить без посторонней помощи, велели выгружаться из вагонов. Носилки, носилки... бессчетно. По деревянным сходням и мосткам вилась тяжелая серошинельная гадюка. Совсем неподалеку, в казенном винном складе развернули один из городских распределительных госпиталей. В неоглядном кирпичном нутре его собиралась текущая вспять из Галиции, Прикарпатья и Пруссии русская кровь, не ушедшая в землю без следа и остатка, но теперь уж не быстрая – вязкая, как в узловатых жилах древнего, зажившегося старика. Стройно, как на параде, тянулись бело-серые гряды уложенных впритык друг к другу тел, а меж ними сновали, уносили куда-то одних, подносили

других и все новых служители, суетились сестрицы в своих белых апостольниках, как будто пропалывая огромное поле лежащих, текущее гулом проклятий и жалоб, безобразных ругательств и мольб.

Матвея вызвали по списку и вместе с полудюжиной новоприбывших усадили в сани. Невиданная прежде, явившаяся в нестерпимом снеговом сиянии Москва подавила своим многолюдьем, но и успокоила незыблемостью всех своих церквей, чьи блистающие купола были словно запаяны в прозрачно-синий воздух неба.

Сестра милосердия ввела его во двор трехэтажного желтого дома с колоннами, по широкой, с лепными перилами лестнице сопровождала на второй этаж. Здесь ему помогли и раздеться, и вымыться в ванной, обрядили в приятно щекотное, хрустящее от свежести белье, домашние туфли и серый халат. Попал он к обеду и вот уж озирался среди медленно, по большей части молча работающих ложками больных.

Еще на пороге почувствовал что-то вроде толчка или, может, ожога. Будто впрямь что-то дрогнуло в воздухе или даже мигнуло, как молния, иначе озарив, коверкая все лица и фигуры, и от него, Матвея, пала тень – такая четкая, что в нем самом на миг ничего не осталось.

Подобное бывает, когда нечаянно вдруг взглянешь в зеркало после долгой отвычки, а тем более после болезни, когда ты смутно помнишь себя прежнего и ни разу не видел себя вот таким: похудевшим, слинялым, с запавшими щеками и заострившимися скулами. Страдающие люди, собранные в одном месте и в большом количестве, становятся похожи; отпечаток тоски, изможденности, боли, терпеливой покорности одинаков на лицах всех раненых, как тавро знаменитого коннозаводчика. Узнавал себя в каждом, а сейчас будто впрямь посмотрел на свое отражение и себя не узнал. Ничем не объяснимый, суеверный на миг в него плеснулся даже будто бы и страх. Ведь если в зеркало глядишь, то там можешь быть только ты, и никто другой больше, а если не ты, то кто же тогда?..

Так и есть – Леденев. Вмиг припомнил Матвей застыженную Дарью на смотринах в Гремучем, и забор тот на скачках, и свою изнурительную, самому непонятную ревность к вот этому, вроде и обойденному им мужику.

Какое-то время они смотрели друг на друга – без сверлящего натиска, без усилий сломать встречный взгляд, скорее попросту пытаясь угадать один другого. Слишком многое было поврозь ими пережито. Тот Леденев, которого он знал, был еще жидковат, а этого как будто отковали. Подросли и окрепли все кости лица, чем-то новым, неизвестным отливали глаза.

Это раньше все люди казались Матвею прозрачными и уже неизменными в своих бесхитростных желаниях и помыслах. Теперь все вокруг дивили непросветной темнотой, молчанием о чем-то самом важном, как будто и незнанием самих себя. По товарищам в сотне он видел: война на каждого кладет свой отпечаток, и по-своему каждый растит семена, зароненные ею в душу. Он понял, что не может знать наверное, о чем думает каждый другой человек, что думает каждый в последний свой миг, что чувствует, когда идет на смерть, по каким теперь правилам думает жить вот этот казак или этот мужик, который пятый месяц кряду убивает подобных себе, чтоб его самого не убили.

Когда он смотрел на сидящих кружком у костра казаков, привычными движениями вытягивающих из-под дула шомпол, перебирающих обоймы или чинящих сбрую, – на собственных станичников, сыздетства друзей, – ему казалось, что никто из них уже не властен над своей душой, не властен точно так же и даже еще меньше, чем над собственной жизнью, над своей судьбой, которая в какой-то мере, хоть на час, но может быть предрешена самим человеком.

Одни замыкались, угрюмели, даже кашу жевали, будто мельничный жернов ворочали, – то ли страх хоронили в душе и мольбу о спасении, то ли зреющее омерзение к человекоубийству, то ли злобу на все выпадавшие тяготы и тоску по родной стороне.

У других же, напротив, все чувства прорывались наружу, и чувства эти были опять-таки многообразны, равно как и поступки, в которые они выплескивались. Одни были не в силах ни

подавить, ни даже спрятать смертный страх: чем ближе шло к атаке, тем больше подбирались, линияли, цепенели, тем больше делали бессмысленных движений и тем решительней не верили себе.

Хватало и тех, кто решил, что теперь можно все: нарушая завет стариков (не брать чужого на войне и не насильничать, чтобы Бог уберег), воровали и грабили в деревнях и местечках, надругивались над молодками и девками, за попытки противиться или жаловаться по начальству избивали поляков, евреев, русинов, не разбирая, кто есть кто, и хорошо, если не до смерти.

Что из всего вот этого возможного происходило с Леденевым? Тут и себя не угадаешь, а не то что чужую середку. Вряд ли он оказался податлив на страх... Какое-то время они смотрели друг на друга и, ни один не выказав желанья подойти к другому, направились в свою палату каждый, но вот ведь – оказались соседями по койкам.

В палате, кроме них, лежало четверо: казак станицы Платовской Никита Фарафонов, все трогавший свой череп под белой шапкой из бинтов, словно боясь, что тот развалится на части; немолодой драгунский вахмистр Кравцов, чью бритую наголо голову как будто бы заштопал чеботарь, стянув края пореза просмоленной дратвой; широкий, как дуб, латыш Мартин Берзиньш, с округлого лица которого до сих пор не сошел густо-розовый кровный румянец, и однорукий по ранению саперный унтер Яков Зудин – словно с вырезанным языком и начинавший вдруг подергиваться, отвернувшись, то ли злобно смеясь, то ли всхлипывая над своей неизбывной бедой.

Матвей волновался. И видел-то его, Романа, от силы десять раз за всю предыдущую жизнь, да и то больше издали, как, проезжая степью, замечаешь волка на бугре. Кроме скачек в Гремучем, нигде не случалось борьбы между ними. Но то одно, что Дарья в девках сохла по этому вот мужику, крепко помнила долгим охлаждением женского своего естества и, получается, любила их обоих, и не то чтоб сперва одного, а потом уж другого, – одно только это приковывало Матвея к Леденеву. То было уж не любопытство, не одно только настороженное чувство родства, какое сильный зверь испытывает к столь же сильному, а будто бы и вправду что-то схожее с тем изумлением, которое ребенком чувствуешь при взгляде в зеркало: неужели вон тот – это я? А то вообразить и вовсе дикаря, который себя ни разу не видел, разве что-то расплывчатое в неподвижной воде или в медном тазу, и вот пришли в его убогое селение миссионеры, проповедники евангелия, и дали ему карманное зеркальце: какой бы ужас и восторг тот испытал. Глаза бы уж, наверное, боялся отвести: сморгнет – и сам умрет.

Халзанов, к слову, в зеркало не так-то часто и смотрелся. Давно прошло то детское влечение, что было малой каплей влито в ненасытную тягу к познанию мира: какие у тебя глаза, нос, уши и почему такие, а не какие-то другие? Его давно уж волновало только то, каким он еще может стать, нарастив свою силу, а с лицом ничего уже было поделать нельзя – придется жить с тем, которое дадено. Глаза окружающих – вот были подлинные, открыто говорящие всю правду зеркала: глядят на тебя с восхищением – добрый казак, а не видят в упор – так и нет никакого тебя. А лицо говорило, что он – это он. Не урод, не кривой. Что девки плачут от него, понятно было и без зеркала. Кусок стекла, покрытый амальгамой, был нужен единственно для сохранения человеческого облика, и, бреясь, причесываясь, Халзанов видел не лицо, а черный свой чуб или щеку в колючей стерне, следя за тем, чтоб ни клочка не пропустить, и оставаясь наконец доволен глянцем, наведенным бритвой. И только иногда сличал себя с другими – как правило, с выхоленными офицерами, с породной тонкостью, изяществом их черт, с холодным выражением спокойного достоинства, ища в своем лице приметы низости, тупой покорности и умственной ущербности или, напротив, твердой воли и способности повелевать.

Что ему Леденев? Неужели права была Дарья – а кому, как не ей, правой быть, угадавшей обоих самым своим сердцем, нутром? – и похожи они, словно братья, рожденные от одного отца, а может, и делившие близнятами утробу матери, толкаясь в ней, теснясь, еще до появления на свет друг с дружкой насилу уживаясь?.. А может, и вправду отец принял грех мимоез-

дом, да и не знает, что в Гремучем есть сын у него... Говорят, молодым ох и жаден был до этого дела, и летучую крыл, и катучую, усмехался Матвей.

Под вечер не вытерпел – в помещении флигеля, где курили больные, подошел к Леденеву:

– Здорово живешь. Что ж, ты меня, может, не угадал?

– Узнал. – В глазах Леденева как будто тоже принялся росток не меньшего, чем в нем, Матвее, интереса.

– Чудные дела – вон ить где привелось повстречаться.

– Чего же чудного? Военное счастье такое – можно и земляков повстречать где ни попадя. Где же ты воевал?

– В Галиции, в Донском шестнадцатом полку. В Карпатские горы полезли – контузило вот. А ты где ж?

– А в голубых гусарах, графа Келлера дивизия. За Русским перевалом с мадьярами сошлись. А уже как поехали раненых в плен подбирать, так один офицер и пальнул в меня из револьвера. И топорщится, главное, под своим жеребцом, как червяк, вижу, хрип из него уж наружу, – нет бы помощь принять, а он, ползучий гад, меня в упор. Ну, думаю, все, отвоевался, паралик.

Разговор тек свободно, подчиняясь изгибам того естественного русла, что было пробито предшествующими разговорами со множеством фронтовиков, – и оттого еще свободней, что под общий кур. Драгунский вахмистр, латыш и Фарафонов едва ли не накинудились на свежего, еще не прискучившего человека, с охотой слушали, расспрашивали, вклинивались со своим.

– Бывает, пуля человека не берет, ото лба, как от камня, отпрядывает, а то, наоборот, через такую чепуху иные пропадают. Был в нашем эскадроне один малый, Алешка Коломиец, – так умер он и жутко, и смешно, – рассказывал Кравцов. – Под Ярославицами бой – ты был там, Леденев. Помнишь, черное солнце видали? Брат у него, Алешки, – Петька, силищи неимоверной. Пошли мы в лоб на их уланов, взяли в пики. Так этот Петька с таким усердием австрийца навернул – по середку залезла пика в живот. Ну и хотел он ее вытащить, а следом брат скакал, Алешка. Как Петька дернет эту пику распроклятую – и тупяком Алешке в грудь: сердце остановил. Что ж, думаю, матери будет писать – как Алешка погиб, брат от братской руки. А вы говорите...

Так на плацу у церкви или в поле говорят о погоде, о сенах, о цене на пшеницу, о приплоде и павшем скоте, обо всем том обыденном, от рожденья до смерти идущем по кругу, с чем сжились, как быки со своими ярмами, как дите с материнским соском. Да, легко, но пока по верхам, не касаясь того, что под кожей и шрамами.

– В каком же чине? – спрашивал Халзанов.

– Старший унтер.

– Должно, и крест имеешь?

Леденев только бровь изгибал, рот кривил со значением: ну уж коль воевал, то и крест.

– За что же представлен?

– Увлёк за собой, изрубил, захватил батарею, – как по бумаге прочитал с усмешкой Леденев, а где-то в глубине холодных улыбающихся глаз точился встречный интерес к Матвеевым геройствам и наградам.

Но вот усиленно поднялись и поползли в палату их соседи – и, оставшись вдвоем, замолчали.

– А что же дома у тебя? – не выдержал Халзанов.

– Дома скоро мясоед – телка заколют, трескать будут, – заперся на засов Леденев.

– Слышал, родитель твой в хозяев шибко справные вышел, – и сам не понимая для чего, настаивал Матвей. – Кубыть, ветряк в Гремучем откупил, работников поднимает.

– Откуда же слух?

– Да все оттуда же, из дома. Вторая очередь идет с Багаевского юрта, а про что и родня прописала. Гремучинских у нас в полку хватает. Шуряк мой Гришка Колычев под боком. Гришку-то помнишь? Как ты ему башку чудок не проломил? – как будто уголья в чужом нутре поворошил, еще не отгоревшие в золу. Чуял: не зажила в Леденеве обида. Понимал: не помянет о Дарье – никакого у них разговора не выйдет.

В глазах Леденева проступило то старое чувство голодной тоски и безвыходной злобы. Волчьей зависти к сытой собаке.

– Скажу тебе как есть, уж коли ты об этом разговор завел, – заговорил, почти не разжимая рта и ломая халзановский взгляд встречным натиском. – Жалкую, что не ты был в том саду.

– И сейчас бы убил? – спросил Матвей не то с оскалом, не то, наоборот, с растерянной ребяческой улыбкой.

Леденев на мгновение обратил взгляд вовнутрь и опять посмотрел на Матвея:

– А хучь и сейчас. Злобы прежней к тебе будто нет, а привелось бы где нам цокнуться... окажись ты во вражеском войске и признал бы тебя – все одно бы убил.

– Что ж, украл я ее у тебя?

– А как назвать? Я ить нынче не так уж живу, как хотел. Не та жизнь – другая. Та с Дарьей должна была быть. А эта будто бы и невзаправдашняя – как вместо лугового сена гольный донник: ходи, подбирай по степи, что от вас, казаков, нам осталось. И она, Дарья-то, не свою жизнь живет, а ту, к какой ее батяня приневолил. Вот и выходит: ты украл. А не ты – так закон ваш казачий.

– А как живет она со мной, ты знаешь? Может, плохо ей, а? Кубыть к тебе бы убежала – путь не дальний.

– Совет да любовь. Да только мне-то что с того? Всем миром переехали меня, навроде как бурьянок тележным колесом. А ты и воспользовался – себя подсунул Дашке. А где же я-то? Не было меня?

– Так что ж, пожалеть тебя? – спросил Матвей уже с издевкой и ожесточением.

– Ну вот и я тебя не пожалею – приведется... Ты думаешь, ты ее взял? Нет, парень, тебе ее дали. Закон ваш, уклад. Спесь ваша казацкая. А я ее взял сам – не родом своим, не званием казачьим, не братовым чином, не отцовым богатством. И дальше все свое я буду брать сам. У таких вот, как ты. У дворян-офицеров, какие с колыбели к гвардии приписаны: молоко на губах не обсохло, а он уже поручик и смотрит на тебя, как на навоз... – Леденев говорил уж с напором и, вдруг почувствовав, что выдает заветное, замолк.

– То есть как это брать? Отнимать?

– Как на скачках в Гремучем – кто кого обойдет. Мы ить что сейчас делаем? За царя, ясно дело, воюем, так ить и за себя. Ты о крестах моих пытал да производствах – должно, и сам о том же думаешь. Из казаков чтоб в офицеры выйти, так? Брат-то выслужил подьесаула, а ты чем его хуже?

– А, вот ты об чем, – усмехнулся Матвей. Он вдруг почувствовал, что Леденев и может объяснить ему все то, чего он сам в себе не понимает. – Ты вот что скажи. Убивать-то тебе приходилось... ну вот так, чтоб в глаза перед тем посмотреть?

– На то и война.

– Ну и как же ты с этим? Душа не стенит?

– Я много убил, – уронил Леденев.

– Выходит, привык? А я вот забыть не могу. На перевале, перед тем как контузило меня, попался австрияк один – возгрей пришибить. И так он глянул на меня – как будто мать родную просит: «дай дыхнуть!»

– И что, отпустил?

– Убил, придавил, – накрыл Матвей ладонью грудь и вдруг почувствовал, как голос дрогнул в детской жалобе. – Совесть точит меня. То ли я виноват, то ли нет – как понять? И главное,

радостно мне... ну не тогда, а вообще. Еще бы пять лет воевал, когда бы домой на побывку пускали. Люблю, понимаешь? Как лавой идем – красота! Сила будто в Дону, ломит все, а над ней человек стоит, ровно Бог над народом. Ты, ты поставлен, ежли ты ведешь. И никого за эту красоту убить не жалко. Как понять?

– Мудрено тебя, казак, понять. То об том австрияке жалкуешь, то обратно не жалко тебе никого, – усмехнулся Роман, но по взгляду его – изумленному, будто впрямь на свое отражение, – понял Матвей: понимает его Леденев – может, так хорошо, как никто на земле. – Такая уж, должно, твоя планида. Быкам в ярме легко да пахарю за плугом – иди себе вперед да налегай, ни на что не гляди, окромя борозды. Есть, знаешь, и такие, которые рубят не спрашивая. А ты думаешь много.

– А ты вот что скажи. Он мне никто, австриец тот, чужой. Немчура, иноверец. Вовсе враг, если так посмотреть. Сошлись мы в бою: не я его – так он меня, иначе нельзя. А ты меня готов при случае убить. Так что же, без разницы? Земляка, стал быть, можно? Такого же русского? Это что ж, брат на брата и сын на отца?

– А мы с тобою, видно, через Дарью породнились? – скрипуче усмехнулся Леденев.

– А навыворот взять, – засмеялся Матвей. – Что мне тот австрияк? Никогда б и не встретились с ним, когда б нас цари не стукнули лбами. Разве он у меня чего взял либо я у него? За что мне его убивать? А я у тебя Дарью отнял. А отнял почему, то есть при каком условии, – соседи мы, так? Вот то-то в одну девку и вцепились, как собаки в кость. Замирятся цари – и разойдемся мы с австрийцами, с германцами, как будто и не видели друг дружку никогда. Он, Ганс, в свою кирху пойдет – молитву вознест Пресвятой Богородице, что сберегла она его, и я – к попу Василию за тем же самым. А с тобой-то мы не разойдемся – откуда пришли, туда и вернемся, одна у нас родина. Нам-то есть из чего меж собой воевать. Да и не нам одним, а всем казакам с мужиками. У кого земли много, а у кого наоборот. Так что же выходит – ежли между собою нам склочиться, то и куда бы злей была война?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.